

# НОВОСЕЛЬЕ

31-32

НЬЮ-УОРК

1 9 4 7

NOVOSELYE

Price 75 cents

# NOVOSSELYE

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editor ..... S. PREGEL

Editorial and Administrative Offices:

330 West 72 Street

New York City

Telephone: ENdicott 2-1660

## СОДЕРЖАНИЕ :



Ив. Бунин. Крем Леодор .....	3
София Прегель. Стихи .....	6
Тэффи. Трагедия .....	8
Вадим Андреев. Поэма об отце .....	14
Алексей Ремизов. Тургенев .....	18
Татьяна Остроумова. Возвращение с фронта .....	24
Ю. Терапиано. Стихи .....	25
Нина Федорова. Арктика .....	26
Вл. Корвин-Пиотровский. Вальс .....	40
Бронислав Сосинский. Срубленная ель .....	41
Владимир Дукельский. Музыкальные итоги .....	81
Марк Слоним. Литературные заметки .....	94
Ю. Сазонова. Открытие Америки .....	101
А. Н. Мандельштам. Русская политика в Турции накануне и во время первой мировой войны .....	105
О. Колбасина-Чернова. Рождение итальянской республики ..	121

## Your Patriotic Duty

IS TO BUY

# SAVINGS BONDS

## and Stamps

*INTERNATIONAL RARE METALS REFINERY, Inc.*  
New York, N. Y.

Printed in the United States of America

by L. Rausen, 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y. GR, 5-9802  
Residence AU 3-0310

# НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 31-32

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1947

---

ИВ. БУНИН

## КРЕМ ЛЕОДОР

Copyright, 1947,  
by the author

— Послушай, — говорит он, сдвигая брови. — Так дальше продолжаться не может. Я давно хотел поговорить с тобой серьезно...

Щелкнув плоским золотым портсигаром, закуривает новую папиросу, швырнув окурочок в камин.

Она, в японской прическе, в цветистом кимоно, полулежит на атласных подушках на отоманке, сбросив на ковер соломенные сандалии и подобрав под себя босые ноги, показывая голые блестящие коленки под короткой, точно детской розовой сорочкой, мягко выгнув талию, отставив овальный зад; просматривает объявления в газете «Харбинская Заря» и отвечает, не поднимая глаз:

— Я слушаю.

Он, прислонясь к камину, отрывисто затягиваясь и тревожными, сумасшедшими глазами то и дело взглядывая назад, в зеркало над камином, начинает говорить — страстно, старательно, книжно, выделяя запятые и придаточные предложе-

ния. Она иногда взмахивает на него пушистыми детскими ресницами синих ангельских глаз, но все смотрит вкось на газету: «вышел в свет новый роман Марка Долинского «Маскарад чувств», около 400 страниц убористой печати. В этом романе талантливый автор смело подходит к щекотливой теме: жена или любовница? сочными мазками давая яркий образ героя, запутавшегося в противоречиях душевных эмоций и звериного зова разнузданной плоти».

— Я прошу тебя слушать! — говорит он резко и громко.  
— Брось газету!

— Я все прекрасно слышу. Только я совершенно не понимаю, какая муха тебя укусила...

— Эта муха кусает меня с самого приезда нашего в Париж! Еще в Харбине я не раз говорил тебе совершенно определенно: совместная жизнь, налагающая как на мужчину, так и на женщину, известные обязательства, повелительно требует...

Она встряхивает стриженной и подвитой головой и опять косит глаза: «Красивые руки нежного оттенка легко приобретаются, ухаживая за ними кремом Леодор. Этот крем с чудным запахом цветов поможет каждой элегантной женщине оставаться победительницей, отвечая всем требованиям, которые ставятся к современным средствам ухода за красотой...» Потом, не глядя на него, говорит как можно естественнее:

— Я все-таки не могу понять, что ты хочешь от меня. Какие еще обязательства нужны тебе? Я не виновата, что кто-то как-то смотрит на меня...

Он опять швыряет окурок, опять щелкает портсигаром и полоумно взглядывает назад, в зеркало: лицо, на мгновение отразившееся в зеркале, кажется ей кривым, как всякое отражение чужого лица. Это ей смешно, но она тупо и грустно продолжает:

— Я не виновата, что ты всюду и всегда...

Он запальчиво перебивает:

— Виновата или не виновата, но я знаю одно! То, что этот прохвост позволяет себе обращаться с тобой, как с своей б.... И я заявляю тебе в последний раз...

Она опять косится:

«Издательство «Пропилеи» только что выпустило в продажу роскошно изданный содержательный труд известного германского ученого д-ра Адольфа Кайзера «Техника Любви», который несомненно явится настольной книгой для всякого живущего сексуальной жизнью и пытающегося познать ее в самых сокровенных формах и проявлениях со множеством пикантных иллюстраций на лучшей меловой бумаге. Труд этот поднял в Германии целую революцию и разошелся в громадном количестве экземпляров, представляя собой целую симфонию оттенков страсти...»

Он решительно застегивает пиджак, сверкая глазами:

— Я твердо говорю в последний раз: если ты...

Она вдруг вскакивает, сбрасывая с отоманки толстенные ноги с золотыми ногтями, и жалобно вскрикивает тонким голосом:

— Ты запутался в противоречиях разнузданного зова. Оставь меня ради Бога в покое!

## БЕССОННИЦА

Утомленных улиц затишье,  
И далекий мерный прибой,  
И мостов летучие мыши  
Над прохладой голубой.

Осязаем воздух янтарный,  
И тропинка в небе чиста,  
И летят созвездья попарно,  
В пустоте меняя места.

Завывает вечер угрюмый:  
В целом мире нет ни души...  
И опять знакомые шумы,  
Перелистывая, глушит, —

Голосистых труб разговоры,  
И голодный вызов свистка,  
И угрозу шумных моторов,  
Рассекающих облака.

И встает высота селенья,  
Где сквозь каменную гряду  
Рудокопов мертвые тени  
На ночную смену идут.

И во тьме мелькают догадки,  
Льется в щели ветра струя,  
Плачет дождь на стеклах украдкой,  
И бессонница, как закладка  
В книге темного бытия.



Над пустынной дороги полосками  
Будет месяц нежданный гореть,  
И запрыгают молнии жесткие  
По откосу густых фонарей.

В глубине золотой прозвучат они,  
Нетерпением грозным полны,  
Лист, уныло к земле припечатанный,  
Зашуршит в ожиданьи весны.

Выйдет роща из дымной прогалины,  
В клочьях спутанных, синих волос,  
Будет небо в свинцовых подпалинах,  
И следы неглубокие валенок,  
И нестрашный скрипучий мороз,

Темный пар, в одиночестве тающий,  
Свет румянца на сонных щеках,  
Тонкий холод ладони пылающей,  
И колючий огонь башлыка,

Облака над пустыми стоянками,  
С паровозом на мокром пути  
И певучей колес перебранкою...  
Будет родина вновь полустанками  
Уплывать в предрассветную тишь.

# ТРАГЕДИЯ

Где волны морские — там бури,  
Где люди — там страсти.

Этот брак был делом давно решенным. Надо было только подождать несколько лет — ну, скажем, лет пятнадцать, чтобы жених и невеста успели поступить в школу, окончить ее, и вообще вырасти, потому что единственное препятствие к немедленному союзу представлял именно возраст этой парочки. Жениху было неполных семь лет, невесте, как она сама раз ответила, «половина восьмого».

Виделись они не часто, раза три, четыре в год, но, повторяю, брак их был дело решенное. Собственно говоря, твердо решил это дело Котька. Он и был главный влюбленный. Таня как-то рассеянно соглашалась, вернее — не протестовала. Котька часто говорил с домашними о будущей своей семейной жизни, строил планы, мечтал. Таня планов не строила и не мечтала и на все рассеянно соглашалась. Такие рассеянные женские натуры встречаются довольно часто. Вся жизнь проходит у них в каком-то полусне. Ничего ярко и отчетливо они не сознают, ничего не помнят, ничего определенного не желают, ничто в жизни не имеет для них значения. Сердце у них доброе, они никого не хотят обидеть и очень удивляются и огорчаются, если кто-нибудь погибнет от их равнодушия или измены.

— Значит, Танечка, ты выходишь замуж за Котьку Закраева? — спрашивали Танечку.

— За Котьку? — рассеянно переспрашивала она. — Да, да.

И сразу заговаривала о чем-нибудь другом. Ей всегда было некогда.



Только раз остановилась она немножко подольше на будущей своей жизни с Котькой и даже построила некоторый план.

— Я хочу, — сказала она, — чтоб у меня было много детей и все девочки. И я буду с ними гулять. Две девочки будут все в голубом, две в розовом, две в зеленом, две в желтом, две в красном, а сзади я в сиреневом.

Дальше ее планы не шли, и фантазия останавливалась. У Котьки мечты были менее цветистые и более основательные, мужские.

— У меня будет отличный дом и у всех много комнат. У меня будет гостиная, кабинет и спальня, для папы гостиная, кабинет и спальня, для мамы гостиная, кабинет и спальня, для Тани гостиная, кабинет и спальня, для няни гостиная, кабинет и спальня. — Потом шел перечень всех теток и дядей и даже знакомых, которые почаще приходят: и тем полагалась каждому гостиная, кабинет и спальня. Развивая все эти планы, такие однообразные в своем величии, он под конец даже уставал и бормотал про свои гостиные и кабинеты, качаясь из стороны в сторону, как татарин на молитве.

Надо все-таки упомянуть о внешности героев.

Таня была девочка щупленькая, с большими темными глазами и короткими туго заплетенными косичками, которые торчали у нее за ушами, закрученные красными косоплетками. Платица были на ней всегда нарядные, и она часто разглаживала их руками, поглядывая на Котьку обиженно и надменно, словно приглашая его относиться к ее туалету почтительно и осторожно.

Котька был пухлый, белый, с ободранными коленками, с синяками на локтях и царапинами на шее.

Как-то вернулся он из школы со всеми следами полководца, потерявшего всю свою армию: верхняя губа разбита, глаз подбит и нос расцарапан.

— Котька! Что с тобой? Кто тебя так разделал?

— «Он» получил здорово, — всхлипывая отвечал Котька.  
— «Он» попомнит.

Попомнил ли «он», этот явно коварный враг, неизвестно. Имени его Котька не назвал. «Он» не получил славы Герострата.

\*\*  
\*

У Танечки была елка.

Жених волновался, будут ли готовы штаны-гольф, переделываемые из маминой юбки. На эти штаны возлагалось много надежд. Они выходили такие огромные и широкие, что нельзя было не уважать залезшего в них человека. Сшиты были на рост, поэтому застегивались почти подмышками и свисали буфами почти до пят. Бабушка увидела, так и ахнула.

— Чего вы уродуете ребенка? Он в этой гадости какой-то старичок-карлик. Что за ужас!

Котька страшно обрадовался, что он старичок. Успех на балу был обеспечен. Он уже представлял себе, как восторженно ахнет Танечка, увидя, что он старик.

Однако низкая бабушкина интрига одержала верх, и на Котьку надели обычный его парадный костюмчик — черный бархатный с голыми коленками. Котька был в отчаянье. Спасла его мрачную душу только нянька, которая уверила его, что и в этом костюмчике он совсем как старик. Котька не вполне этому поверил, но заставил себя верить. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

На елке было ребят человек десять, но Котьке показалось, будто их сотни две и все незнакомые. Танечка тоже показалась незнакомой дамой потрясающей красоты. У нее были распущенные волосы и на темени дрожал незабываемо-прекрасный розовый бант.

Танечка поцеловала Котьку, взяла его за руку и велела танцевать. Рассеянные ее глазки шныряли и смеялись, но плясала она с Котькой, а не с другими, и он задыхался от

счастья. Он ждал только перерыва в музыке, чтобы начать ей рассказывать про гостиную, кабинет и спальню, но во время антракта ему подарили три хлопущки, и радость настоящего момента заставила его на время забыть о планах будущей жизни.

И Танечка вертелась тут же, и от нее пахло шоколадкой, а розовый бант дрожал и закрывал весь мир своей непобедимой красотой.

Они вместе, Котька и Танечка, потянули большую хлопущку за разные концы, раздался огненный треск и запахло чем-то вроде пороха, волнующим и опасным. Котька вскрикнул и завертелся волчком. Слишком полна была жизнь красотой розового банта, и героическим запахом пороха, и треском, и блеском. Как выразить бедной человеческой душе свой восторг, если не визгом и не кружением.

И вдруг что-то случилось.

Розовый бант, подпрыгивая, удалился. Голоса взрослых приветствовали кого-то. Танцы приостановились. Котька поднялся на цыпочки и посмотрел туда, где был центр внимания. Посмотрел и увидел.

В дверях спокойно и гордо стоял человек. Ростом он был немного выше Котьки, но вообще — разве можно их сравнивать! Тот человек, который спокойно и гордо стоял в дверях, был — кадет. Кадет в мундире, в длинных суконных штанах, заглаженных твердой прямой складкой, и он держал фуражку на согнутом локте правой руки. Незабываемое, ужасное видение. Оно будет сниться Котьке в кошмарных снах долгие годы, может быть всю жизнь. Может быть в глубокой старости, седой и почтенный Котик, Константин Николаевич Закраев, известный ученый или общественный деятель, министр, сенатор, президент — встанет утром сердитый и раздраженный, распушит своих подчиненных и потребует крайних мер против своих врагов, только потому, что ему приснился тяжелый сон — восьмилетний кадетик, спокойный и гордый, в длинных, твердо заглаженных брючках.

Котик стоял и смотрел и видел, как Танечка обняла кадета и целовала так, что розовый бант прыгал у нее на голове, и она взяла кадета за руки и подвела к елке, и дала ему большую хлопушку и вместе с ним тянула за концы. И хлопушка — она тоже подлая — треснула огоньком и запахла военным порохом.

— Таня! Таня! — позвал Котик.

Но она его не слышала. Она разворачивала хлопушку и доставала из нее бумажный колпак, зеленый с блестками, и потом надела этот колпак на кадета, а тот улыбался как дурак, и потом они вместе — ужас! ужас! — пошли танцевать.

Котик пробирался за ними. Ему казалось — вечная ошибка покинутых и обманутых — что нужно непременно что-то ей сказать, объяснить: и она сейчас же поймет, и все будет по старому. Сейчас все так ужасно. Елка какая-то зловещая, и все кругом чужие, и хлопушки хлопают одинаково для всех, для хороших и для дурных, и это не-вы-но-си-мо. Нужно скорее рассказать Тане про гостиную, кабинет и спальню и сказать, что кадет дурак, и все будет хорошо и станет весело.

—Таня! Таня! — зовет он.

Губы у него дрожат, подбородок прыгает.

Вот они остановились, и она прилаживает к голове кадета зеленый колпак.

— Таня! — рыдающим голосом кричит Котька и хватается изменницу за плечо. — Таня, ведь я через три года тоже буду кадетом. Пойми! Мама сказала. Я буду кадетом, Таня!

Таня обернулась, смотрит на Котьку, но при этом прижалась к кадету. Ей весело, и она не понимает этого невыразимого отчаяния, которое дрожит перед ней и истерически топчет ногами.

— Ну чего ты, Котька? — улыбнулась она. — Иди, танцуй.

И Котька ушел. Только не танцевать.

Его нашли в коридоре на сундуке. Он горько рыдал и не отвечал на расспросы.

— Это он на Таню обиделся, — догадалась танина мать. — Таня! нехорошая девочка, иди скорей сюда, поцелуй Котика, видишь, он плачет.

Но Котик был гордый.

— Я не оттого... Я совсем не оттого... рыдал он, мотая головой и шмыгая носом.

Ах, только бы не подумали, что он плачет «оттого».

— Таня, иди же сюда! — зовут изменницу.

И изменница прибежала и быстро и равнодушно чмокнула котькину щеку.

Быстро и равнодушно — это было ужасно. А рядом с Таней стоял кадет, спокойный и гордый, и всей своей фигурой выражал презрение военного человека к ревущему мальчишке.

— Ну вот видишь, Танечка тебя целует, — кудахтала танина мать.—Перестань же плакать, ты же большой мальчик.

«Большой мальчик». Это ужасно обидные слова. Так уговаривают только маленьких детей.

— Ну, Котик, поцелуй же Танечку и успокойся.

Котька вытер нос обшлагом рукава и сказал прерывающимся голосом, но очень твердо:

— Мне это не интересно.

И чтобы лучше поверили, прибавил в полном отчаянии человека, который рвет с прошлым, умирает от боли — но не вернется:

— Мне интересна только хлопущка.

## ПОЭМА ОБ ОТЦЕ

Леонид Андреев родился 9/21 августа  
1871 г. в городе Орле, умер 12 сентября  
1919 г. в финской деревушке Нейвола.

1.

По горло в снег зарылись ели.  
Кружилась и цвела пурга.  
Веселый снег хмельной метели  
Во тьме преследовал врага.  
Большая ночь глядела в оба  
Сквозь неподвижный полог мглы,  
Как за сугробами сугробы  
Вздымали белые валы.  
В ночи, прозрачный и стоокий,  
Влеком воздушною игрой,  
Покорен музыке высокой  
Струился звездно-снежный рой.  
Был мир ночной неузнаваем:  
Казалась странною земля —  
Как будто притворилась раем  
Большая роза без стебля.  
Наш черный дом в завоях снежных,  
Как шмель меж белых лепестков  
Пил музыку годов мятежных,  
Опустошающих годов.  
Он погибал, но погибая,  
Сквозь ветер, голод и мороз  
Он видел, как цветет, сияя,  
Блеск революционных роз.

Он был насыщен вдохновеньем.  
Как иней на стенах его  
Горело дымным озареньем  
Мучительное волшебство.  
И призраки картин, и книги,  
И свод щербатый потолка,  
И смерть, и жизнь — в едином миге  
Поправшем дымные века.

2.

Вот я закрыл глаза, и снова  
Звучат отцовские шаги —  
Сквозь тяжесть медленного слова,  
Сквозь завывание пурги.  
Колеблется скупое пламя.  
Еще далеко до утра.  
Его упорными шагами  
Протоптан синий ворс ковра.  
Военная тропа сражений  
И горьких срывов и побед —  
Испепеляющих горений  
Язвительный и зоркий бред.  
И пишущей машинки стрекот,  
И музыки небесный гром,  
И вьюги отдаленный клекот  
За занавешенным окном,  
И под морщиною межбровной,  
Под обнаженным солнцем лба  
Любви безгрешной и греховной  
Неутолимая борьба.  
И в глубине земной неволи,  
В смерче и образов и снов  
Сияние последней боли,  
Звук непроизносимых слов.

Часы, часы ночного бденья!  
Все медленней земная речь,  
Все отдаленней вдохновенье  
И явственней сутулость плеч.  
Рассвет сквозь водоросли веток,  
Сквозь разлетающийся мрак  
Глядит на пластыри пометок,  
На сон исчерченных бумаг.

3.

Сентябрьский ветер строг и зорок —  
Он вымел начисто луга,  
Обвеял глиняный пригорок  
И гладко причесал стога.  
Березы желтыми кострами  
Сияли вдалеке. Леса  
Подперли хвойными плечами  
Встревоженные небеса.  
Серели выцветшие крыши  
Окрестных финских деревень.  
Час от часу казался выше  
Неумолимо жесткий день.  
И в глубине пустого сада,  
Там, где застыла тишина,  
Наш дом стоял ночной громадой,  
Многоугольной глыбой сна.  
Для отдыха закрыть не мог он  
Глухие веки мертвых глаз.  
На впадины зеркальных окон  
Лег черным блеском смертный час.  
Для наших глаз уже незрима,  
Для чувств земных уже мертва  
Плыла легка, неуловима  
Душа былого волшебства.



И голос, смертью обнаженный,  
Легко минуя слух людской  
Взлетел, закатом опаленный,  
И захлебнулся высотой.  
— Когда-нибудь, в другой вселенной,  
Над бездной дымною веков  
Воскреснет музыкой нетленной  
Оборванное пенье слов.

# ТУРГЕНЕВ

1818 — 1883

## **Разговор по поводу выхода во французском переводе рассказов Тургенева**

В России имя Тургенева — имя царское. Два десятилетия в русской истории — 1860-1880 — обозначаются именно: «в царствование Тургенева-Толстого-Достоевского», наследовали царство Пушкина и Гоголя. Романы Тургенева отвечали на вопросы жизни и создали легенду о «тургеневской девушке». А Достоевский освятил эту легенду: «тургеневская девушка» Лиза («Дворянское гнездо»), как пушкинская Татьяна, жертвует своим счастливым часом жизни во имя сурового безжалостного долга.

(«Долг» — это скрепа; а будет по другому, и развалится жизнь, как картошка, — так должно быть?).

А кроме легенды, и это уж к истории русской литературы, Тургенев первый европеец среди русских писателей: свой на Москве, да и в Париже как дома. Европеец и Герцен, свой в Лондоне и по всей России, но своим «Колоколом» он заглушил свою «беллетристику»: вопросы дня — однодневный цветок.

Не скажу о Толстом — Толстой у всех на виду, его голос во все люди, и памятен: «Ясная Поляна!». Но Тургенев и Достоевский, это цари Русской земли — «всея великия, и малыя, и белыя, и червонныя Руси самодержцы».

«Тревога и сомнения, разлитые в произведениях Достоевского, есть наши тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, Достоевский

может быть даже совсем забыт и не читаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-нибудь неловкое, когда идущие по нем народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ Достоевского пробудится с нисколько не утраченной силой».

И кому, как не нам — годами всполошенные «алерт» и избомбардированные, мы легко подпишемся под вещим словом В. В. Розанова («Легенда о великом инквизиторе», 1894). И там, я чую, в России, разоренной, обедованной, тревогой и неизбывной утратой измученной, в России, я слышу, кричащий из самого сердца, из обоженной утробы, нечеловеческий — вся затаенная боль, слезами не вылившаяся скорбь, черные думы матерей и сестер! — этот «подгрудный», нестерпимый человеку, зловещий голос кликуш у Троицы-Сергия. Имя Достоевского в наше время, и как раз теперь, полно жизни и силы, и книги его читаются натошак, как исповедальный требник. А Тургенев, его книги? — Тургенев... «после обеда».

С первого произведения Достоевский встречен восторженно: гений. «Второй Гоголь?» — «Куда!» А сам Гоголь, он читал «Бедных людей» (1846), заметил: «растянуто». И в самом деле, какой же Достоевский художник: мера ему никак. А со следующими произведениями Достоевского и особенно с появлением замечательного рассказа «Хозяйка», подхват «Страшной мести» Гоголя, вышла неловкость: те же самые восторженные критики теперь повесили нос: «как мы осрамылись» — «раздули посредственность!» — «какая нелепость!» Другое с Тургеневым: его встретили со цветами и всякое новое его произведение осыпали розами — «все хорошо, все прекрасно». — «Как-то даже неловко перед Толстым», по замечанию Дружинина\*), разгадавшего по пер-

---

\*) А. В. Дружинин (1824-1864), автор «Полиньки Сакс» (1847), ученик Лермонтова и Жорж-Занд, представитель «эстетической» критики за Белинским первого периода, и с ним П. В. Анненков (1813-1887), первый биограф Пушкина, а в то же время Аполлон

вым рассказам гений Толстого. И до последнего дня жизни розовый путь — от Буживаля Виардо через Германию Шеллинга и Гёте до Петербурга к Нарвским воротам в Новодевичий монастырь к могиле у могилы «генералов» Некрасова и Салтыкова: на вечную память.

Черное отчаяние Достоевского, оно скажется словом «скверный анекдот» в рассказе «Скверный анекдот» (1862) — в этой каторжной памяти о мелькнувшей отчаянной мысли там, на каторге, после чтения единственной книги — Библии в то пронизывающее сибирское утро: ночь с беспутным дрязнящим сновидением, еще липнущая к телу колючая посконь, с омерзением ногами у загаженного человеческими нечистотами острожного забора, а над головой серые, непробиваемые ни болью, ни мольбой, ни жертвой «торжественные» небеса — «скверный анекдот». Потом оно скажется в «Бесах» (1873) словами Кирилова перед самоубийством: «дьяволов водевиль».

«Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль. И для чего жить, отвечай, если ты человек?» И Достоевский ответил, нашел себе утешение: «пострадать» — это единственный выход «страдание»; только так человеку еще и возможно отбыть свой каторжный век: «покажу язык из подполья». «Страдание-отмщение» — проповедь Достоевского.

Темная душа Тургенева, она выразилась особенно в его снах — редкий рассказ без каркающего сновидения, и эти сны — тридцать снов — как траурная кайма на его, благоухающих цветами, картинах жизни. Тургенев нашел себе утешение: **литература.**

Тургенев первый русский литератор — «*homme de lettres*» — мастер словесного искусства. Мастерству он на-

---

Григорьев (1822-1864) со своей «органической» критикой, ему предшествовал Валериан Н. Майков (1823-1847), разгадавший судьбу Достоевского по первым его произведениям.

учился в Париже, живя бок-о-бок с французскими мастерами слова, среди их литературных традиций. Наперекор «безобразию» — закону живой жизни, он создает стройную, хоть и обреченную на безвыходность, воображаемую на человеческий лад человеческую жизнь. По плану, с метрикой и послужным списком действующих лиц он даст русскую повесть — *nouvelle*; наставник его будет Флобер.

У русских писателей у каждого есть хоть кончик от Достоевского — что ни говорите, какими бы волшебными танцами себя не окружить, а ведь только в страдничестве человек подымается до «человека», и самый пустой скажет путное слово, возможно, что и страждущий зверь говорит своим звериным голосом на своем лайном языке: аз есмь лютый-зверь безгрешный!» — и из помятой травы мне слышно тонким шелестом: «загубленная!»

У Толстого бывали и есть последователи: пытались и пробуют выразиться по-толстовски, но, сами понимаете, что-то не слышать, чтобы у Шекспира были ученики, верстающиеся с учителем — можно пользоваться Шекспиром, но это другое дело. Так и с Толстым: да просто нехватка голоса, да и глаза наши — не орлы. Русская литература идет за Тургеневым, что и проще и посильнее.

Чехов той же Тургеневской темноты, он описывает в своих бесчисленных рассказах **пропад** — как человек пропадает. Но этот пропад какой-то «семейный», в этом все и утешение: и посмеются, и поругаются, и поплачут, а потом хлопнут рюмку, закусят солеными грибочками, чайку попьют и на боковую — засыпать безнадежную мысль: «пропал». И если не пропадаешь, после Чехова захочется пропадать. Чехова читают не только «после обеда», а и во всякую погоду. Я особенно люблю читать Чехова в дождик.

Тургенев начал со стихов: умные и бесцветные, и вспомнить нечего... «Выхожу один я на дорогу...» нет, это Лермонтов. Пойдите, вспомнил, тоже поется «Утро туманное, утро седое...» У Тургенева стихи в тысячах — отблеск звучащей

звезды Пушкина. Начинать стихами хорошо, приучают к мере и настраивают на лад, и потом язык не так разболтается; посмотрите, какая сдержанность и глаз у Лермонтова: «Герой нашего времени» (Печорин) и против «Тамарин» умного и наблюдательного Авдеева (1821-1876), ученика Лермонтова, завязнешь; да вот и у Пушкина — вроде либретто «Пиковая дама», слова не выкинешь. От стихов у Тургенева его описания природы — соблазн для многих соперничать, не дай Бог, до Горького, до громокипящих и разливных зорь, да и кто из нас, писателей второго... полета, трудящихся и трудившихся, не грешен этим грехом — «под Тургенева». А кончил Тургенев «стихотворениями в прозе» — Бодлер ему был учитель: «*Petits poèmes en prose*». В стихотворениях в прозе много раздумья, памяти, предчувствия — на росстани дорог стоит человек, оглянулся на пройденный путь: простите и прощайте, страшно! Эти слова я отчетливо слышу, я слышал и в жизни, читаю и в книгах, последнее: последние минуты К. С. Аксакова (1860). А самое совершенное по форме: «Песнь торжествующей любви», под этим рассказом мог бы подписаться Флобер. Французская наука не прошла даром, и как у Флобера — «ни к чему», так отозвался бы Толстой и Достоевский: не греет и не светит. Рассказы Тургенева не то, чтоб скучные, а очень робкие, и даже такое, рассказ Лукерьи («Живые мощи»), написан с голоса и какого, на сердце оледенеет. Голос у него был тоненький, не по росту, и какая-то жалостливая мелочность и фыркающая избалованность, что бывает от перенюха роз и оперного пения, и это особенно сказалось в его лирическом «Довольно». Достоевский, склонный вообще к обличительной литературе, он ведь и начал не с «Бедных людей», а с объявления о юмористическом «Зубоскале» (С. Петербургские Ведомости, 1845), воспроизводит в «Бесах» это «Довольно» и очень метко под названием «*Merci*». Но «Первая любовь», в этом рассказе такая острота чувств, столько боли и тоски, с собачьим воем — у Достоевского на ту же тему «Маленький герой», но чем

помянуть его, разве только вспомнишь, что Достоевский писал его в крепости в ожидании смертного приговора. Или шаги и стук подкрадывающейся смерти не бьют так крепко, как иной раз ударит хлыстом по живому сердцу. «Первая любовь» — это крик всхлестнутого сердца.

• Такое у меня было чувство, когда в первый раз я прочитал «Первую любовь». И я полюбил Тургенева. И книгу за книгой, не отрываясь, все его книги прочел, и только не мог одолеть театральное. Но Тургенев не Софокл, не Шекспир, его пьесы глядятся не с буквы, а со скоромошых «крашенных рыл» на театре. И, конечно, его «могучий» русский язык, я, как русский, с памятью моей всего московского, не могу принять, не оговорясь: хорошо, только не по «нашему». Впрочем, я люблю слово во всех нарядах и украшениях до обезьяньего — со светящимся бело-алыми «а» и жарко-белым «о».

Париж, 1946.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА

(С английского)

Он осмотрелся вокруг — вот дом,  
Знакомый дом. И вот голоса  
Знакомые издавна. Он костылем  
Ногу подпер. В окне — леса.  
Его сожженная солнцем рука,  
Привыкшая ствол ласкать ружья,  
Встретила руки друзей. Века  
Не встречались, и вот — семья.  
Кровь застучала в руке, как часы  
(Вернее часов сердца людей).  
Он взглядом скосил траву. Косы  
Давно не держал он. Грудю камней  
Глазами убрал он, очистив двор.  
Вот — пруд знакомый, знакомый грот...  
Запела земля, и ветер гор  
Сдунул с души тяжелый гнет.  
Поля и злаки, плоды и сад,  
Тяжкая прелесть пчелиных сот,  
Мечте и труду воздав стократ,  
Приветствуют бурно его приход.  
Вон там, за домом, лесом, горой,  
Жестокий мир, оставленный им,  
Теперь, как фильм, рукою злой  
Пущенный кем-то, — забыт и мним.  
Вливалась в тело былая мощь.  
Он вновь свободен. Вокруг — простор.  
Окинул небо — будет ли дождь? —  
**Его привычный хозяйский взор.**  
Плоды дерев золотил закат.  
Расправив плечи, он вышел в сад.





О Елене ахейцы вздыхали,  
Острый меч сжимал Менелай,  
Рощи Трои, качаясь, дрожали,  
Псов охотничьих слушая лай.

Над песком высота голубая.  
Солнце жжет. Облака. Тишина.  
Корабли, паруса напрягая,  
Выплывают из древнего сна.

О Елене гекзаметром верным  
Пел слепец каменистой страны;  
Этим именем, звучным и мерным,  
Гимны Греции светлой полны.

Разбивается белая пена  
Вдоль прибрежных базальтовых скал,  
Море плещет: Елена, Елена,  
Вечный с шумом вздымается вал.

# АРКТИКА

И полечу, и воспою.

(И. Державин)

1.

В Америку ехали за счастьем, а счастье понималось как отдых. Анна Ивановна была особенно красноречива.

— Представь, — говорила она, ожесточенно разглаживая пыльник, — приедем! И новая, новая жизнь. Совсем чужая страна. Никого не знаем, никого не жалко. И ответственности никакой. Просто можно ни во что не вмешиваться. Чудно. Отдохнем.

Семен Петрович думал иначе. Он полагал, что ничто, кроме смерти, не освобождает человека от морального долга и гражданских обязанностей. Но в данный момент он не хотел ни возражать, ни спорить. Пусть жена радуется. Сам же он, после недавних побоев в японской тюрьме Харбина, еще не оправился. Кажется, они отбили ему левую почку.

За чаем Анна Ивановна просто захлебывалась от избытка надежд и планов.

— Главное, уйти от друзей. Скрыться подальше от доброжелателей. Враг что! Вперед знаешь его намерения. Чего же и ожидать от врага?! А вот друзья — вот это горе! Вот это и есть западня! От врага ты бежишь, ты закрываешь дом. Друга ты встречаешь на пороге... Ты ему открываешь сердце... И пока ты целуешь друга, ты не видишь, как он заносит нож за твоей спиной... Нет, нет... Помни, Сеня, в Америке никого не искать, не встречать, никаких друзей.

— Но позволь, Аня, там есть кое-кто... твои ученики, например...

— Ученики? — кричала Анна Ивановна, впопыхах разбивая чайную чашку. — Да что же может быть ужаснее? Ученики! Это похуже даже и друзей. Христа кто предал?

Семен Петрович не мог более терпеть.

— Аня! — говорил он, вставая с постели. — Это преступно, какие ты делаешь обобщения! Я краснею за тебя. Ты чудовищно несправедлива...

— Так разреши же и мне иногда быть несправедливой, — кричала Анна Ивановна, бросая веник в угол. — Давай хоть изредка позволим себе эту роскошь...

— Боже! что ты говоришь! — стонал Семен Петрович, закрывая глаза и хватаясь за голову.

— Я не говорю, я кричу, — бунтовала Аня.

И начиналась стихийная русская ссора, семейная ссора на принципиальной подкладке. Она налетала, как великолепная летняя гроза, с электрической бурей, дождем и ветром, сметая и разрушая... Но проносилась она быстро, — и изумленный человек растерянно старался вспомнить, в чем, собственно, было дело. Анна Ивановна олицетворяла бурю и электричество. Семен же Петрович погудывал, как отдаленный гром.

— Ты только вспомни, кто и за что посадил тебя в тюрьму, — бушевала Аня, отодвигая уют, чтобы ничем уже не отвлекаться. — Если рассказать не в Харбине, кто поверит? За что ведь сидел? Только потому, что Липа Томилина наша приятельница по Омску, а ее племянница Танечка Юцик — моя ученица. И вот Танечка выходит замуж за японца Бабахито. И влюбленный японец хочет выслужиться, чтобы получить бесплатную квартиру: две комнаты с кухней и удобствами... Он доносит на тебя. Я еще могу, если не вполне уважать, то понять японца. Он — враг, он доносит, он сажит в тюрьму. Потенциально тут есть логика. Но откуда он добыл материал для доноса? Как он узнал, что у нас были гости и, между прочим, Липа с Танечкой? Как он узнал о твоих словах, что японский император довольно бесцветная личность?

Однако же узнал, написал, донес. И за эту «бесцветность» тебе отбивают почку. Кто был наш друг-доносчик в данном случае? Танечка? Липочка?

— У тебя нет доказательств! — гремел Семен Петрович.  
— Какая низость высказывать необоснованные подозрения. Аня! Ты опускаешься морально! Я начинаю бояться за тебя! Где твое душевное благородство?

— Что? — кричала Аня. — Замолчи, Жан-Жак-Руссо несчастный! Беспочвенник! Махатма Ганди!

— Что? Что ты сказала? — задыхался Семен Петрович.  
— Повтори!

— И повторю! — бравировала Анна Ивановна. — Я сказала: Махатма Ганди.

— О, Боже. — стонал Семен Петрович, опускаясь на постель, — **каким тоном ты произносишь это имя!** Что-же, по твоему, **надо или не надо** любить человечество?

— То-есть всё человечество?

— Всё, всё, всё!

— Всё?

— Всё. Понимать и любить.

— Благодарю покорно. **Не понимая** любить — допускаю. Но раз поняв, упорствовать в любви ко **всему** человечеству — это просто моральная трусость. Это страх пересмотреть свой моральный инвентарь. Это... И он еще спрашивает! Слепец...

Но вдруг, взглянув на Семена Петровича, Аня меняла тон:

— Тебе пора принять лекарство. Опять ведь забыли и пропустили срок.

Но Семен Петрович еще трепетал от бури:

— Аничка... прошу тебя, впредь никогда, никогда не оскорбляй человечество.

— И не буду, и не буду, — великодушно соглашалась Аня и говорила уже не сердясь, а воркуя:

— Ну вот и выгладила брюки, и кончила говорить — все сразу. Я ведь все это к слову. Думаешь, мне приятно вспоминать, как...

— Аня!

— Да, да. Берусь за штопку. Я так, Сеня, думаю: устали мы, и жить тяжело, потому и ссоримся. Ну, ничего. В Америке отдохнем и успокоимся. Вот будет жизнь! Эх, — продолжала она, не меняя тона, — тут бы пуговочку пришить у воротничка, а некогда. В Америке пришью.

Сборы были длительные, и разговоры все учащались и углублялись.

Аня убеждала, что надо укреплять решимость и волю, без этого никак нельзя в Америке. В себе она была уверена, но беспокоилась о муже. Не то, чтоб Сеня был человек безвольный, нет, он проявлял решимость как-то некстати, когда его об этом не просили; когда же от него ожидали поддержки, он, по словам ожидавших, «не отвечал своему назначению», не сливался с большинством и оставался при особом мнении. Помнила Аня его признания после войны с Германией, а потом и после гражданской.

— Знаю, что враг. Стреляю, а сам молюсь: Господи! Пошли, чтоб никого не убить.

А потом и совсем бросил стрелять. В нем развивалась какая-то беспредельная жалость, какая то мучительная любовь к человечеству. Эта любовь, видимо, не была взаимной, потому что, кто бы ни случился у власти, Семена Петровича неизменно сажали в тюрьму. Он хотел добра человечеству, в прямом смысле, и простого добра, чтобы не было войн, голода, угнетений. Ему обыкновенно возражали: «Идеалист! Вешать таких надо!» И, должно быть, вешали, так как идеалистов все убывало. Просто уже и поговорить, кроме Ани, было не с кем. Жизнь без идеалистов однако же не улучшалась.

— Ну, вот!—говорила Аня, укладывая сундучок.—Понял, почему в Америке нам будет легче? Здесь мы тратим много

душевных сил на все это участие, соучастие, сочувствие, протесты, беганье по общественным и благотворительным делам. Там этого не будет. Народ там живет богато и свободно. И мы сначала сосредоточим энергию на том, чтобы добыть пропитание. Да и много ли нам надо? Мы как-то едим все меньше и меньше. Стали обходиться без завтрака, а потом и без ужина. Ну, тебе, с отбитой почкой, надо пить молоко. Это необходимость. Хлеб еще нужен, чай, кой-какие овощи. Я могу жить без мяса. И рыбы не надо. Необходимое добудем. Успех обеспечен. А уж все свободное время — наше. Заживем. Библиотеки в Америке замечательные, и совершенно бесплатно. Уж это ли не счастье?

Но Семен Петрович молчал, не разделяя энтузиазма. Как-то не верилось в счастье.

— До гражданства в Америке пять лет, — говорила Аня, сметая пыль с потолка, чтобы оставить квартиру чистой. — Нам просто закон не позволит вмешиваться. И вот, — полная вдохновения, она слезала с табуретки, чтобы как-нибудь не упасть при разговоре, и стояла, размахивая метлой над постелью, где лежал Семен Петрович, — и вот, снят груз гражданского долга. Мы — два свободных индивидуума, без обязательств. И отдохнем, и поживем по-человечески...

— Аня, — встревоженно шептал больной, — помилуй, ты погрешаешь... то, что ты говоришь, почти моральная анархия.

— Но ведь это пока, на время... до получения прав гражданства... чтобы хорошо использовать...

— Ты договорилась до оппортунизма! Ты в опасности морального разложения, — стонал Семен Петрович.

— Стой! Опять забываем лекарство. Сейчас надо коричневое. Пять капель.

И, дав лекарство, она продолжала мечтать вполголоса:

— Я природу наблюдать буду. Весна, лето, осень, зима — какая гармония! Сколько в школе еще сочинений писала об этом, сколько описаний читала, а наблюдать своими глазами

не приходилось. Всё куда-то бежали, чего-то искали, не до восходов солнца нам было. А теперь станем жить в маленьком городе, на окраине — и все будем смотреть...

От счастья ее глаза начинали сиять прекрасным внутренним светом, и она опять казалась Аничкой, молодой студенткой в Москве.

Семен Петрович молчал, молчал, молчал.

— Всё! — сказала Аня, завязывая последний узелок. — Собрались. Сложились. Нас двое, чемодан, сундучок, узелок, корзинка — шесть вещей, значит.

Это и было все. Их было двое на свете. Детей у них не осталось. Два сына были положены на алтарь революции: один справа, другой слева, а дочь пропала без следа. Просто ушла однажды из дома и больше не вернулась, никто ее нигде не видел с тех пор.

## 2.

В Америке оказалось несладко. Не было заработка. Познания Анны Ивановны в иностранных языках никого не интересовали. Американские дети ходили в школы, и учителей на дому никто не имел, это было не в обычае. Объявления Анны Ивановны в газете звучали странно, даже подозрительно в этом маленьком городке. Тогда она нанялась шить.

— Игла — это и есть международный язык, — говорила Аня с сарказмом. — Где ни живу после России, только иглой и зарабатываю.

Семен Петрович в Америке оказался ни к чему не пригодным. Более того, по местным стандартам он даже не мог считаться образованным человеком.

Дело было так. Желая найти культурную работу, хотя бы за ничтожную плату, хотя бы и совсем бесплатно, Семен Петрович должен был подвергнуться экзамену «на интеллигентность». Он провалился на первом же испытании. Получив лист, он было бодро взялся за перо. Первый вопрос гласил:

«Жизнь и смерть — это одинаковые или противоположные явления?»

Семен Петрович был потрясен сложностью вопроса. Как ни посмотреть — с философской ли точки зрения, биологической, с религиозной ли — дело было чрезвычайно запутанное. А между тем вокруг сидели люди, сдававшие экзамен, их было сотни две, и быстро справлялись с вопросами. Вопросы было 80, а времени для их решения — полчаса. Работали быстро.

Но Семен Петрович хотел быть честным. Он полагал, что есть огромная опасность в небрежном трактовании кардинальных философских вопросов. Он не мог ответить на первый вопрос. С другой стороны, он считал, что, не ответив на первый, он не имел морального права плыть по течению, отвечая на другие вопросы. Прошло полчаса, и Семен Петрович подал лист, где ни на один вопрос не было отвечено. Придя домой, он узнал, что его интеллектуальный уровень был отмечен, как «тупоумие». Это был конец его карьеры.

Тогда он поступил на место мусорщика. Это дело пошло быстро и просто. И жалованье платили аккуратно.

— Мы опускаемся, Аня, — говорил Семен Петрович все чаще и чаще. — Ты замечаешь, мы дичаем. День проходит в работе... и даже ночью, во сне, я все собираю и собираю мусор.

Аня молчала.

— Признайся, ты шьешь во сне. Все мотаешь и мотаешь иглой с этой ужасной ниткой. Аня, где наш энтузиазм? Почему мы стали такими забытыми? В чем дело? Ведь фактически нас никто не обижает...

Аня не отвечала. Это беспокоило Семена Петровича. Выходило как-то, что в Америке говорил все больше он, а Аня молчала и шила.

Но пришла война и встряхнула обоих. Россия в опасности! И встала в душе пламенная любовь к России. Забылось всё, и потери, и душевные раны, помнилось только небо весною,



тихий вечер и талый снег, и реки, леса и горы, и русские песни, русская юность, мечты и любовь. В душе вставала неутолимая, стихийная нежность к России — и хотелось сейчас же идти и умереть за нее.

Но это были одни мечты. Ни Аня, ни Семен Петрович уже не годились ни в какую армию, ни в какие солдаты. Бросились работать в «Рошен Уор Релиф». Чистили, штопали, шили. И Семен Петрович научился штопать. Хоть и не очень хорошо, а штопал. Разговор же, теперь горячий, кипучий, шел все о России.

— Я вижу теперь мою ошибку, мою и мне подобных, — говорил Сеня, с горячностью ломая иглу. — Я не умел ненавидеть. Ненависть необходима борцу. Она действенна, она дает силу. Теперь я начну развивать в себе пламенную ненависть к врагам человеческой справедливости. Она даст мне силу. Я смогу перейти в лагерь активных борцов...

Стоя посреди комнаты, Семен Петрович кричал:

— Я научусь ненавидеть! Я буду убивать нацистов и фашистов. Я наполнюсь пламенной, стихийной ненавистью! Я...

— Ты? — перебивала Аня, бросая в сторону обломки иглы. — Ты?! Лучше замолчи. Не срамись. Куда тебе ненавидеть! С этим надо родиться. Не научишься. Тоже спохватился! И в тюрьмах тебя били, и гнали тебя, всё отняли — так не догадался ненавидеть. А теперь, на старости лет вздумал учиться. Где тебе! Бывало, я заикнусь, что не перед всем бы человечеством благоговеть надо, так — Боже! — какие обвинения, упреки...

Она кричала и становилась прежней Аней. И опять, как роскошная июльская гроза, налетала семейная русская ссора. Она проносилась с вихрем и громом, сверкала молниями, разила что попало и как попало и уносилась затем неизвестно куда. Ошеломленные спорщики иногда не могли даже вспомнить в чем, собственно, было разногласие.

— Ах, Сеня, — говорила Анна Ивановна, вновь берясь

за иголку. — Нам бы обоим лечиться надо. Подумай, какие мы нервные.

— Что делать, — вздыхал Семен Петрович, — разумное человеческое существо не может и не должно относиться к войне пассивно. Я весь дрожу...

— На вот иголочку, поштопай. Кому-то штанишки в Россию. Успокойсья.

Атомная бомба лишила и Аню и Семена Петровича душевного равновесия.

— До чего дожили! — стонал Сеня. — Полное банкротство. Страшно называться человеком.

— Я высказываюсь **против** бомбы, — вызывающе бросала Аня в пространство. — Категорически и бесповоротно: **против**.

— Надо поставить себя в такие условия, чтобы наш голос был услышан. Это нужно сделать немедленно. Мы объявим, что снимаем с себя моральную ответственность... протестуем, каковы бы ни были для нас последствия. Пострадаем, Аня, если надо...

— И пострадаем, Сеня. Не ново. Но не подписываться же под бомбой... Ты не думай, что я за нас боюсь, за себя. Да для меня лично бомба была бы, может быть, благодеянием... подумай, одна секунда всего и терпеть-то! Чем болеть, скажем, раком, лежать годами... одна секунда, — уже вдохновлялась Аня, — и нет ничего. И ведь, верно, будет потом такой международный закон, чтобы атомные бомбы бросать только глухой ночью, и все, кто ожидает бомбу, спали бы. Может, сонные пилюли государство будет выдавать... бесплатно, как выдавали противогазовые маски. И — представь! — лежишь это в постели... мирно, хорошо... Вдруг летит! Предупреждаю, Сеня, за меня не бойся. Спи спокойно! И вот, секунда — и нет ни тебя, ни меня, нет ничего! А мы даже и не знаем, что нас уже нет. Спим — не просыпаемся, приняли пилюлю. И весь этот внутренний мир, наш внутренний жар,—

все куда-то уносится атомами. Да ведь это космическая поэма, Сеня!

— Аня, стой, стой...

— Что уж тут стоять! Температура-то более, чем в 1.000.000 градусов. Где уж тут пережить! Я, к тому же, вообще плохо переношу жар. Нет, здесь представляется чудесный случай...

— Аня! — кричал Семен Петрович в ужасе, — Боже, что она говорит! Аня, ты смешала все идеи, все точки зрения... Это речи безумной!

И тут случилось одно из редких событий: Анна Ивановна не возразила на упрек. Она уронила иголку, склонила голову и тихо, беззвучно заплакала.

Семен Петрович испугался. Но он боялся сказать слово. Боялся, что расплчется сам.

— Уедем, — наконец сказала Аня сквозь слезы. — Не то... мы одичаем здесь, Сеня... Мы явно бессильны... И затем, — Аня уже говорила с увлечением и громко, — пойми: я не в человечестве разочарована. Нет и нет. Я протестую против этого вида цивилизации. Жить, работать, платить налоги, чтобы на эти деньги, что ты вырабатываешь, собирая мусор, делались бомбы... от моих трудов готовились бы яды... Какая я, в конце концов, Лукреция Борджия!

— Решено, — сказал Семен Петрович твердо, — мы уходим от этой цивилизации. Мы разрываем.

И, взяв шляпу, он ушел из дома. Но Аня, не заметив этого, продолжала вслух:

— Я не падаю духом, и тебе не советую. Конец цивилизации еще не конец человечества. Начнем строить новую жизнь. Работники найдутся. Вот уж нас двое есть...

3.

Из Америки решили уехать внезапно.

— Посмотри на карту, Аня, — просил Семен Петрович, в тоске ворочаясь на постели. Он был болен.

— Что смотреть? Уже смотрели, — отвечала Аня. — И что ты ожидаешь увидеть? Мы ведь хотим скрыться не от какой-либо страны, партии или там системы. Нет смысла смотреть на карту.

— Да, да, — метался Сеня. — Мы протестуем во имя человеческой потребности быть честным.

— Правильно! А ты говоришь: посмотри на карту. Куда с таким протестом уйдешь!

— А ты, Аничка, все-таки посмотри! Прошу тебя, Аня...

Аня, чтоб не обидеть больного, встала, раскрыла на кухонном столе старенькую карту обоих полушарий и, взглянув на нее, вдруг вскрикнула:

— Сеня! Я нашла!

— Что? Что? — уже вставал с постели Семен Петрович.

— Арктика! — кричала Аня, и голос у нее был молодой и задорный, и все лицо ее светилось юношеской мечтой о счастье.

— Сеня, милый Сеня! Уйдем. Там, понимаешь, полгода ночь и только полгода день. Нет ничего цивилизованного вокруг. Но главное: ночь... ночь... — говорила Аня, и слезы патетического восторга лились по ее лицу. — Ночь... ночь... длинная... Вставай, Сеня! Начнем сборы!

— Но, Аня, как мы поставим это на моральный, а потом на экономический базис?

— Просто. Морально — это протест против заблуждений цивилизации. Это жест симпатии к таким же, как мы... Наше «особое мнение». А экономически? Сеня, много ли нам нужно? Едим мы еще меньше... Ну, надо нам что-нибудь горячее... будем пить чай... без лимона и без сахара... Ты откажись от молока. Мне, кроме хлеба, ничего не надо.

— Но и это... — сомневался Семен Петрович.

— Постой. Найдем какую-нибудь работу... ну, на радиостанции, или на маяке, что-ли... Ведь вдвоем с тобой знаем восемь языков, математику... Оплатим угол, где жить. Да и

должно быть недорого. Живут там в домах изо льда или в норах под землей. Выберем, что подешевле.

Аня уже вставала, оглядывая комнату, готовая укладываться. И в то же время продолжала горячо, вдохновенно:

— Оставим поскорее эту суету. Кстати, и укладываться недолго. Всех вещей едва ли наберется корзинка и чемодан. И вот еще раз, Сеня, начинаем новую жизнь! Как будет легко! Свободная мысль, спокойная совесть... размышления... музыка... чтение...

— Постой, Аня, ты сказала «музыка»?

— Да, по радио. Но будем слушать только симфонии. Ты представь: ночь, тишина. Нечего делать. Не надо огня (на этом будем экономить), и можно лежать и слушать. Потом выпьем горячего чаю и опять...

— Хорошо. Но что же мы будем читать?

Аня задумалась на минуту, потом лицо ее опять засияло:

— Допустим, совсем не будет книг. Но ведь ты знал «Евгения Онегина» наизусть. Я знала «Демона» и «Мцыри». А сколько еще стихотворений Баратынского, Тютчева, Белого, Блока... И ты Есенина знаешь. Прежде мы мало это ценили. Все не было времени. А теперь вот, ночь-то длинная — сядем и вспомним... и заплачем и поблагодарим поэтов...

— «Не говори с тоской: их нет».

— Вот, вот. «Были!» Соберем все наши сокровища в один узелок. Я ведь и Гоголя кое-что знаю наизусть и из Достоевского... Ах, Сеня, богаты мы с тобой! Ну, бери шляпу, идем в библиотеку за справками. На «А» — «арктические страны». Сначала общие сведения. А потом, я думаю, начнем с Исландии. А, Сеня, как ты думаешь?

По дороге Аня уже ворчала:

— Жаль, «Войну и Мир» не догадались выучить наизусть в свое время. Теперь не успеем. Это было бы подспорье. И чем это мы с тобой заняты были? Не дорожили настоящими сокровищами мысли...

К библиотеке подошли, задыхаясь. Чтобы перевести дух,

## Н о в о с е л ь е

остановились на высокой площадке. Семен Петрович зашатался было от слабости, но Аня его поддержала:

— Мужайся! Уже недолго. Тебя ждет Арктика.

Семен Петрович выпрямился. И, глядя в темнеющее небо, заговорил:

— Мы забыли Державина, Ломоносова... слушай:

«Лицо свое скрывает день,  
Поля покрыла мрачна ночь».

Но Аня уже, бодро и восторженно, вступала в другую жизнь:

— Ты подумай, какую тяжесть оставляем позади! Сколько мы с тобой пережили, Сеня: две Мировых, одну Бескровную, не говоря уже о разных мелочах, вроде девятьсот пятого года. Пережили — и ничего. И живы. И не переменились нисколько. Верим! Начинаем новую эру, новую цивилизацию. Сеня, друг, дай руку! Слава Творцу! Крепко построил человека.

## **ВАЛЬС**

Он ловко палочкой взмахнул,  
Дал знак таинственный гобою,  
Лукаво флейте подмигнул, —  
И, отшвырнув случайный стул,  
Я в омут бросился с тобою.

Как в море рокотала медь,  
И хриплый ангел плакал слева  
Слезой отчаянья и гнева  
О тех, кто не полюбит впредь.

И в некой глубине подводной,  
Где в звездное окно, как в сон,  
Стремилась ночь полет свободный  
И глухо охал Геликон, —

Корделия, твой голос страстный  
Вдруг оборвался и затих, —  
Корделия, твой труп безгласный  
Растаял на руках моих.

И снова в нищенском уборе,  
Скупую отерев слезу,  
Я заклинаю лес и море,  
Жестокий ветер и грозу.

Обычай древний соблюдая,  
Со мной бредет мой шут ворча,  
Дорожным посохом стуча, —  
И борода его седая  
Как плащ струится вдоль плеча.

Fresnes, 1944

## **СРУБЛЕННАЯ ЕЛЬ**

**Брат Лоренцо:** Стучат. Вставай. Скорей, Ромео! Прячься!

**Ромео:** Зачем? Я спрятан все равно от всех стеной непроницаемой печали.

1.

В этот вечер Устирсын медлил ложиться спать. Он ожидал своего ареста. Перспектива быть разбуженным ночью, в потемках искать одежду, торопливо зашнуровывать ботинки, — пугала его и казалась постыдной. Вспоминались аресты друзей накануне, когда часовой в каске, с револьвером в руках сопровождал арестованного до самой уборной и сторожил у дверей, заглядывая в оконце, вырезанное в остроумной форме сердца.

Время шло, но за Устирсыным никто не являлся.

«Чаще всего это бывает ранним утром, на рассвете, — говорил он себе. — Нужно аккуратно, в порядке надевания, разложить одежду. Ботинки поставить на то место, куда обычно при вставании спускаются ноги, носки обязательно положить внутрь ботинок. А главное, должны быть спички под рукой, чтобы сразу зажечь лампу, в которой осталось еще немного керосину. Впрочем, у них, наверное будут карманные фонарики, имеются даже такие с крохотным «динамо», вращающимся регулярным движением большого пальца, — будут сами светить, и таким образом сэкономим керосин».

Грустно! Не так давно Устирсын вырвался из железных объятий колючей проволоки, которые душили его в течение нескольких лет, — только-только успел он подышать, если не полной свободой, то хоть воздухом океана, радостью



встреч с родными и друзьями, драгоценным ощущением отсутствия за спиной вездесущего тюремщика. Неужели теперь снова придется бедному Устирсыну отдаться в их руки?

Какие обвинения они могут предъявить ему? Запас патронов, списки членов организации и копия со штабных карт нескольких батарей закопаны в сарае и так замаскированы, что нужно все перекопать, чтоб их найти. На чердаке — к свиному гнезду, все еще жилому — подвешен радиоаппарат: найти его нелегко, и совы обязательно вспугнут незваных посетителей жутким треском своих крыльев. Связь с бывшими русскими военнопленными — это скрыть будет трудно. Да, встречались. И только. Все остальное — начисто отрицать. Самое тяжелое обвинение, это — взрыв порохового погреба, дело рук двух товарищей Устирсына. Как вздрогнуло его сердце, как заликовало в ту минуту, когда зазвенели окна конторы, в которой он работал бухгалтером, и когда весь остров заколыхался точно от японского землетрясения. Долго будет помнить Устирсын, как он поднялся из-за стола, с которого посыпались, как из игрушечной коробки, его любимые цифры, — эти цифры, особенно своими единицами и нулями, чертили гору патронов, снарядов и ручных гранат, навсегда утерявших свою смертоносную силу, — как он вышел на улицу и, окруженный ничего не понимающими сослуживцами, подняв на лоб свои огромные роговые очки, с невинной и счастливой улыбкой смотрел в сторону повторных взрывов. «Ах, какие ребята! Ка-кие ребята», восторженно шептал он. «Коля, Костя, милые мои русачки, кто другой способен на такие стахановские темпы». Вот эти минуты, самые дорогие для Устирсына, в предстоящем допросе надо раз навсегда отрицать.

Днем, когда отовсюду приходили тревожные слухи о всеобщих арестах, Устирсыну предложили сесть в рыбацью лодку и бежать на континент. Это было бы самым легким выходом из положения. Устирсын, взволнованный участием друзей, пожимая им руки, говорил:

— Нет, нет, не уговаривайте. Все эти «вставай», «скорей прячься» — я и слышать не могу. При одной мысли о бегстве у меня волосы встают дыбом.

И, говоря это, перехватив мгновенные улыбки друзей, Ромео громко рассмеялся, пройдясь рукой по своей лысой голове. Нет, нет, серьезно — Устирсын не был в силах еще расстаться с семьей, обретенной с таким трудом, да еще оставляя своих близких заложниками во вражеском лагере. Будь, что будет: авось и на сей раз та же звезда — а теперь у него их было целых две: прибавилась та, что светит на родине, — авось они выведут Устирсына из новой беды.

Вручив этим звездам свою судьбу, окончательно успокоившись, он стал медленно раздеваться.

## II.

Было за полночь. Легкий стук в окно, непохожий на стук прикладов, с которыми ассоциируется арест, разбудил Устирсына. Стук шел из соседней со спальней кухни.

«Ну вот, пришли... Спокойно, Устирсын. Мы мужественны будем».

Быстро натянул штаны, вспомнил о носках внутри ботинок, не стал их искать и по каменному полу, с удивлением замечая, что он идет не босиком, а именно в тех носках, которые должны были по вчерашнему уговору с самим собой находиться в ботинках, прошел в кухню и отодвинул вана-веску на стеклянной двери.

На фоне лунного сияния — на острове, и пожалуй только здесь, похожи эти ночи на белые, петербургские — чернела фигура немецкого солдата с винтовкой за плечом.

С годами Устирсын все чаще замечал у себя странный рефлекс подсознательной памяти, который на одно мгновение как бы затушевывал зрительный образ, заменяя его однотипным, но давнишним воспоминанием. Бывало, сядет он в поезд, чуть закроет глаза и тотчас же: детские худенькие

руки на голых коленках, весь он маленький, ноги повисли в воздухе, грустный, грустный, обиженный, лицо в слезах от горького прощания с кем-то, а поезд — все тот-же вагон третьего класса, так же стучат колеса, «телеграфная тянется нить», только мчится он, все ускоряя ход, из ... Либавы в Петербург, — и полстолетия как ни бывало!

Так и сейчас, у кухонной двери, Устирсын увидел своего мрачного дядьку, который с палкой за спиной, торчавшей как винтовка, подждал его с грозным словом: «Опять нашкодил, разбойник, а ну-те-ка стройтесь к расчёту, молодой человек».

И, съезжившись, как от удара, пятидесятидвухлетний Устирсын отворил дверь...

— Владимир Григорьевич, ради Бога, спасите меня, сил больше нет терпеть. Бьют меня каждый день, голодом морят. Антоненко мне сказал, что вы можете нас на ту сторону отправить. Владимир Григорьевич, дорогой, век вас не забуду. Я и заплатить могу, у меня кое-какие сбережения есть. На брюхе к вам полз из батареи — повсюду как волки патрули бродят — шесть километров три часа брел. Дайте, Бога ради, воды глотнуть, в горле сухо, говорить не могу.

— А Антоненко где? — мрачно спросил Устирсын, узнавая в ночном госте Григория Кожевникова, личность менее всего внушающую доверие, которого до сих пор остерегались все члены организации.

Кожевников грузно опустился на стул, опер о печку ружье, сбросил на пол сумку и после долгих вздохов неохотно ответил:

— Арестовали моего друга... Пришли утром, отобрали винтовку, дали пять минут на сборы и увели в крепость. Как остался я один, сразу решил: надо бежать и мне.

— Так, — медленно процедил Устирсын, уходя от окна, чтобы лучше видеть при лунном свете жалкую фигуру Кожевникова, — вас было двое на батарее. Лучшего вашего

друга арестовали, а вы, чтоб улучшить его положение, просто смылись? Таким образом у немцев создается вполне обоснованное подозрение, что арестовали Антоненко не зря. Удружили вы ему и в этом деле, Григорий Ильич.

В душе Устирсына, человека мягкого, отзывчивого, росло недоброе чувство к незванному гостю. Он прошелся несколько раз от светлого квадрата на полу в темный угол и обратно, стараясь собрать разбегающиеся по темным и светлым сторонам мысли, кочевавшие где-то между тревожной реальностью и не менее тревожным сном, от которого был только что оторван. Когда в начале года создавалась подпольная организация «сопротивления», в ряды которой удалось привлечь всех русских, служивших в немецкой армии, — не раз подымался вопрос об одном подозрительном человеке, который еще в бытность их всех в «истребительном лагере советских военнопленных», где за год из 50.000 остались в живых одна-две тысячи, добровольно взял на себя роль «полицая» и разгуливал с дубинкой в руках, за что его впоследствии неоднократно избивали товарищи. Это и был Григорий Кожевников, которого держали в стороне от общего дела до тех пор, пока он не оказался на одной батарее с замечательным Антоненко, готовившим в одиночном порядке дерзкий план захвата укреплений одного из участков «Атлантической стены» и доказавшим позднее своей героической смертью, что это были не слова и не простая похвальба. Этот Антоненко взялся за Кожевникова, по его выражению, «всерьез» и так «обработал его слабую технику», что «готов был теперь собственной забубенной головой отвечать за малахольного Григория».

Но у Устирсына никогда не было спокойного чувства к Кожевникову. Что, например, могло произойти вчера на батарее «Мамут»? Может быть, не один Антоненко, а они оба были арестованы, и Кожевников, спасая свою дрянную жизнь, мог предложить немцам всю боевую организацию, и его ночной визит ничто иное, как первый шаг предательства, дол-

женствующий открыть немцам, среди многого прочего, и тайную связь с континентом, и путь, по которому прошло немало дезертиров из их армии. Не так давно в соседней деревушке немцы спровоцировали целую рыбацью семью, разжалобив их своей любовью к Франции и выторговав у них старую лодку лишь для того, чтобы в момент инсценированного бегства рота СС могла устроить облаву на доверчивых рыбаков, по счастью, ничего общего не имевших с подлинной организацией сопротивления.

Деликатного Устирсына особенно покорило грубо, с места в карьер, предложенное Кожевниковым денежное вознаграждение в таком святом для него деле. «Честный человек так не подойдет ко мне», — хмуро думал он, останавливаясь перед стулом, на котором грузно возлежал полуреальный серый мешок, цвета немецкой военной шинели, как некий сконденсированный за ночь ужас. «Ну, как мне проникнуть в твою душу, дьявол? Предатель ты или нет? Правду говоришь или врешь?»

— Вот что, Кожевников, вы выбрали неудачный момент для бегства. Вчера арестовали моего шурина и вместе с ним ряд видных членов нашей организации. Я жду с минуты на минуту моего ареста. Когда я впускал вас сюда, я был уверен, что за мной пришли. На острове вот уже второй день, как вам известно, идут облавы и поголовные обыски. Спрятать вас у себя я не могу, да и вам же хуже будет, если вас здесь найдут. Единственный выход, это немедленно вернуться на батарею и ждать моего вызова, если, конечно, — Устирсын горько улыбнулся, — я сам буду еще на свободе.

— Боже упаси, золотце мое, Владимир Григорьевич, — воскликнул Кожевников, — возврата нет!

— Тише, детей разбудите. Почему возврата нет?

— Вы только подумайте, — в голосе Кожевникова задрожали слезы. — Шеф у меня не человек, а зверь. Жуть одна. Пайка моего не додает, папиросы зажуливает. Вот недавно всем на батарее роздали по шоколадке, а мне? Мне

не дали даже попробовать.

Настоящая злоба, так редко посещавшая Устирсына, вдруг подступила к его горлу. «Ему, видите ли, шоколаду не додали, которого мои собственные дети не видели много лет. Так из-за этого кожевниковского шоколада я должен теперь рисковать своей жизнью, благополучием семьи».

— В-о-о-н! — Вдруг, побледнев, зашипел он, с каким-то чужим для него свистом, испугавшим его самого, и дрожащей рукой указал на дверь. — У меня тоже нет шоколада. А папиросы? Я сам курю «топинамбур». Антоненко, может, этой ночью к стенке ставят, моих друзей и родных везут этой ночью в крепость, а вы скулите о шоколаде. Видеть вас не могу.

Кожевников откинулся на спинку стула, большими, ничего не понимающими глазами смотрел на Устирсына и не двигался.

Устирсын подбежал к двери и широко ее растворил:

— Ну? — и в голосе его прозвучала угроза.

И только тогда понял Кожевников, что дело его провалилось, и что надо уходить. Он, не вставая, наклонился за сумкой, вскинул на плечо винтовку, вдруг потяжелевшую, с трудом, как будто через силу, поднялся со стула и, не отрывая глаз от хозяина, с видом побитой собаки поплелся к выходу. У порога он остановился, как бы размышляя, куда идти, туда ли, куда «возврата нет», или тем путем, в котором ему отказал Устирсын, но по его последним словам было видно, что он думал не об этом.

— Прощайте, дорогой Владимир Григорьевич. Не буду поминать вас лихом. Вы многое сделали для наших ребят. Может, возвращение на родину блудных ее сынов будет облегчено вашим добрым участием. Только скажу на прощанье, не сердитесь: тут не в шоколаде дело, голова у меня усталая, да и воды вы мне забыли дать, про шоколад я просто неудачно выразился. Да что говорить... Будьте здоровы, дорогой Владимир Григорьевич.

## Ш.

По уходе Кожевникова Устирсын долго стоял у открытых дверей. Лунная ночь, легкий соленый ветер с берега — навели успокоение на сердце. Как все добрые люди, он приходил в бешенство очень редко и вдвойне потом раскаивался. «А вдруг он прав: не в шоколаде дело, и обидел я человека зря. И кто может судить настоящий вес грехов? Товарищи были как-то противоречивы в изображении недавнего прошлого Кожевникова. А если это клевета: дурная слава бежит... А вот Антоненко, героическая душа, стоял горой за него. Может, вовсе он не предатель?» — И внезапно новая мысль пронзила Устирсына, не мысль даже, а мыслишка, позорная для него самого: «Если до сих пор Кожевников не был предателем, то не станет ли он им теперь, когда я его выставил за дверь, когда он в отчаянии бредет обратно к немцам? Ведь не я же один рискую в этом деле».

И Устирсын выбежал во двор.

Кожевников должен был быть уже далеко. Шаги его давно замерли в ночной тишине — впрочем, он, наверное, бредет полями, а не по мостовой, боясь патрулей. В какую сторону он мог пойти?

И вдруг Устирсын увидел длинную тень, нарисованную луной на дорожке у калитки: опустив голову, там стоял Кожевников.

У Устирсына отлегло от сердца: на этот раз он обрадовался ему как родному.

— Уф... О чем вы думаете, Григорий Ильич? — мягко сказал Устирсын, подходя к нему на цыпочках все в тех же носках и отчетливо чувствуя холод, идущий от земли.

— Да вот не знаю, куда итти, — радостно улыбаясь, ответил Кожевников. — Ума не приложу. Ведь, кроме вас, я никого не знаю на острове. Шурина вашего, вы говорите, арестовали, значит путь в Сен-Дени тоже отрезан. Куда итти?

— Есть у меня идея, Кожевников. Только надо это продумать и действовать немедленно, до рассвета. Идем на кухню, я оденусь, вы подкрепитесь коньяком, и мы двинемся. Я вам сейчас все расскажу.

В пятистах метрах от дома, где жил Устирсын, около винокуренного завода, где он служил, вплотную к шоссе примыкала небольшая каменная постройка, бывшая раньше вокзалом узкоколейки, которую он хорошо помнил еще со времен первого своего посещения острова и которая давно уже была заменена автобусной линией. Вот туда и думал Устирсын устроить на первую ночь Кожевникова, а ранним утром перевести его на завод, пока не выяснится срок отплытия ближайшей шхуны на континент.

Устирсын с Кожевниковым вышли к часу ночи. Луна попрежнему светила ярко, и по шоссе, конечно, итти было нельзя: в девять часов вечера гасли в домах окна, и было запрещено ходить по улицам. Остров был на осадном положении. Только стук железных каблучков о камень — ночная музыка, которая навеки останется в памяти французов после лихого четырехлетия оккупации, да вой тревожных сирен и звук авиационных моторов, прерываемый глухими взрывами бомб — единственное нарушение тишины, допускаемое военным законом. Следовало бы итти полем, но оно белело под луной и было как на ладони для дозорного, помещенного высшим командованием на верхушке старинной церкви Сен-Пьера повидимому для того, чтобы в случае, если воздушная бомба разрушит это военное гнездо, вишийские газеты и радио Геббельса могли бы обвинять в варварстве американских летчиков, покушающихся на религиозные ценности Франции. Устирсын и Кожевников пробирались по дну дорожной канавы; они прошли ее согнувшись, как идут под обстрелом солдаты по недостаточно глубокой траншее. Повсюду царил тишина, глубокая, настоящая, а не та, что допускается человеческим законом. Устирсын без особых трудностей ввел Кожевникова в маленькое вокзальное помещение.



— Тут есть скамья, — шопотом сказал Устирсын, — можете поспать. Правда, в окнах выбиты стекла, но, по счастью ночь безветренная. По моим наблюдениям, сюда никто не заходит. Все же будьте осторожны и, главное, не курите. Еще до света я переведу вас в более надежное место. Если же буду арестован, моя дочь позаботится о вас. Ну вот, Григорий Ильич, спокойной ночи. Погорячился я только что: все мы изнервничались в нашем подпольи — так вы забудьте.

«И поскорее его надо спровадить с острова», — думал Устирсын на обратном пути. — «Такие бойцы «шоколадные» нам не нужны. Завтра же повидею «Крысу».

#### IV.

Ночь прошла спокойно, о чем, не в пример обычным утрам, ликующие возвестил будильник: за Устирсыным никто не пришел. Чуть светало, когда он, неся под мышкой бутылку горячего чая и кусок хлеба, вошел в вокзал.

Помещение было пусто: Кожевников исчез. Снова Устирсына охватила тревога: ушел ли он обратно к немцам сам, арестовал ли его ночной патруль, случайно зашедший сюда погреться, — оба предположения ничего хорошего не сулили.

Пока он стоял в раздумье, стены комнаты вдруг осветились ярким светом, как от вспышки магния. Устирсын ринулся за косяк двери, которую он, входя, забыл закрыть. Прижавшись в угол, стараясь всем телом уйти в кирпичную стену, он настороженным ухом уловил шум автомобиля и тотчас же понял, откуда идет свет. Фары потухли. Что если сидящие в машине немцы (французы давно не ездят на машинах, даже все велосипеды на острове реквизированы) видели в вокзальной двери мелькнувшую человеческую тень? Устирсын проклинал себя за отсутствие выдержки в опасные минуты: надо было, как только осветилась комната, повернувшись лицом к источнику света, спокойно сесть на скамью, как ни в чем не бывало: разве уже не утро и разве он не мог

зайти сюда отдохнуть, спокойно пососать свою топинамбурную трубку? Пользуясь наступившей темнотой, Устирсын пересел на скамью. В силуэте черной лакированной машины, единственной на острове, он узнал ту, на которой обычно разъезжал начальник гестапо. Машина мелькнула в окне и — сердце Устирсына забилося сильнее! — затормозила в нескольких метрах от вокзальчика. А что, если среди немцев сидит в машине друг Кожевников, который привез их сюда? Размышлять было некогда; Устирсын из дверей вокзала нырнул в кусты и через мгновение уже полз по дну знакомой канавы.

Но наступившую было тишину прервал грохот мотора, и та же машина помчалась по поперечной улице мимо винокуренного завода. Устирсын со вздохом душевного облегчения вспомнил поворот с шоссе на городскую улицу, на котором шофер, естественно, должен был затормозить машину. И так, на этот раз пронесло, и Устирсын, как герой романа «Двенадцать стульев», отделался лишь испугом.

Куда же все-таки девался Кожевников? И что теперь делать? Уже совсем светало и надо было что-то предпринимать. Устирсын выбрался из канавы и пошел по шоссе в сторону своего дома. Руки ощущали, не в пример голове, переполненной тяжелыми мыслями, некую легкость и пустоту, и Устирсын вспомнил про бутылку и хлеб, которые он, видимо, забыл на вокзальчике. Это могло служить только лишней уликой — надо немедленно их разыскать.

Устирсын вернулся на место только-что происшедших событий, которые неожиданно при свете дня, почудились ему бывшими когда-то давно, и все, что произошло этой ночью — томительное ожидание Кожевникова, припадок бешенства, и это совсем не устирсынское «в-о-о-н» дорогому гостю, и немедленное с ним примирение, и этот страшный черный автомобиль с парой огненных глаз, проникающих сквозь каменные стены, — все уродливые тени за оградой «непроницаемой печали» стали неожиданно похожи на какой-

то старинный сон, когда Владимир Устирсын, штабс-капитан врангелевской армии, валялся на больничной койке в сыпном тифу накануне падения Севастополя.

Буылка и хлеб лежали на скамейке. Устирсын соби-рался уже уходить, когда кто-то его позвал — тихо, но явственно:

— Владимир Григорьевич...

Устирсын выглянул в окно — ни души. Между тем, голос шел из глубины комнаты:

— Владимир Григорьевич, это я — Кожевников...

Устирсын бросился туда, где звучал знакомый голос — к небольшому оконцу, забитому досками, в котором раньше продавались железнодорожные билеты. Сквозь щель Устир-сын увидел глаз Кожевникова.

— Как вы туда проникли?

— Очень просто: видите, там, внизу, налево, прибитые доски. Я их отбил каблуком, пролез сюда и отсюда их снова заколотил — шито-крыто.

— Что вы там нашли? Что это за конура?

— Здесь я нашел дрова, лопаты и грабли, это что-то вроде сарая. Могу и покурить, и поспать.

— Послушайте, Кожевников, на дворе уже светло, но я все же думаю, пока еще не проснулись, перетащить вас к себе на завод. Неровен час, хозяин сарая нанесет вам визит. Что вы тогда будете делать?

— Нет, нет, Владимир Григорьевич, я предпочитаю оста-ваться здесь. В случае, если кто-нибудь сюда зайдет, я успею спрятаться: здесь масса всяких вещей — ящики, сети, какой-то брезент; уверяю вас, что я здесь, как у Христа за пазухой.

Подумав, Устирсын решил оставить его здесь до ночи.

## V.

Итак, это не был сон, приснившийся Устирсыну четверть века тому назад в севастопольском госпитале. Все события

вернулись на свои реальные места, и действие продолжается. На плечи бедного Устирсына легла тяжелая обязанность быть режиссером этой нелепой игры, в которой на одну из карт была поставлена его собственная жизнь. Стоило все эти годы беречь его от пуль и снарядов, от голода и болезней — лишь для того, чтоб в **одну черную минуту** предать всего целиком! Под Варшавой, на мазурских болотах, в кубанских степях, под Царицыном и на Перекопских валах, в песках желтой, как лихорадка, Адис-Абебы, в осажденном Мадриде, под Седаном, в Арденнах, в немецких тюрьмах — всюду судьба отчаянно защищала Устирсына, который был, если вдуматься как следует, значительно ниже и слабее событий, наградивших с такой щедростью его скромную личную жизнь. Нет, эта черная минута еще не наступила: срок его защитного пакта с судьбой еще не истек. Мы мужественны будем.

Первый деловой визит: к жандарму Крысе. Это не прозвище — это точный перевод его настоящей фамилии; прозвищем для Устирсына мосье Ра стал лишь потому, что он, как две капли воды был похож на крысу и, по профессии своей, именно на крысу полицейскую. Это был один из редких членов Сопrotивления, который имел право открыто носить за поясом, в кобуре, заряженный револьвер. И он, как представитель французской полиции эпохи маршала Петэна, в принципе работавшей с оккупантами, был единственным на острове владельцем мотоциклетки, что помогало ему служить живой связью между отдельными группами Сопrotивления, разбросанными по разным деревням и одиноким фермам. Устирсын очень рано добрался до здания национальной жандармерии, стоявшего рядом с домом, где родился и после нескольких кругосветных путешествий был похоронен знаменитый островитянин Пьер Лоти, — и застал полицейского еще в постели и притом в довольно скверном настроении.

Вот что сказал Крыса Устирсыну, выслушав его рассказ о ночном происшествии:

— Дело дрянь. Ты знаешь, что происходит на острове:

каждую ночь немцы устраивают, метр за метром, зверские облавы, сколько уже народу арестовали, в Котиньер не осталось ни одного моряка, береговая охрана усилена. При таких условиях нельзя рассчитывать, чтоб в ближайшие дни ушла во Францию хоть одна из наших лодок. Неудачный момент выбрал твой земляк для бегства. Не знаю, чем тебе помочь, Старик...

Устирсын в тот день повидался еще с несколькими оставшимися на свободе товарищами, — сведения отовсюду шли неутешительные: Кожевникова придется прятать в течение нескольких дней.

Второе важное дело, которое должен быть Устирсын осуществить немедленно, это — разыскать нового человека из среды рабочих винокуренного завода, куда он полагал перевести Кожевникова, так как еще вчера были арестованы два члена организации из заводского персонала.

После краткого колебания его выбор пал на дистиллятора, милейшего эльзасца Кэпфера, белокурого великана из сказок бр. Гримм, капрала французской армии, который не желая служить под знаменами со свастикой, покинул после разгрома Франции свой родной дом с аистом на крыше и скромно жил на новом месте. В течение всех лет оккупации он тщательно скрывал от всех, что знает немецкий язык, хотя каждое французское слово, им произнесенное, звучало, как немецкое. Устирсын дружил с ним на почве ежедневного обмена новостями, которые сообщало Лондонское радио.

В глазах Кэпфера появились слезы восторга, он выпрямился во весь рост и гордо закинул голову, точно услышал над собой реяние патриотических знамен, когда Устирсын, сразу понявший, что он не ошибся в своем выборе, сделал ему почетное предложение. Итак, у Устирсына был верный помощник, а на случай его ареста и заместитель в печальном деле с Кожевниковым.

## VI.

Прошла еще одна ночь: об Устирсыне как будто забыли. Но утром поползли слухи один тревожнее другого. Кольцо облав сжималось вокруг Сен-Пьера: каждая деревушка, каждая ферма на острове была уже обыскана — наступала очередь городка, где жил Устирсын. Мимо завода мчались в Инзелькомендатуру грузовики; на их открытых платформах плотной массой стояли крестьяне и рыбаки, оттесняя конвоиров в касках, у которых по сравнению с мужественными арестантами, распевавшими веселые песни, был жалкий, испуганный вид.

Накануне Устирсын, провожая Кожевникова с вокзальчика на чердак огромного заводского здания, где прихотливые медные сосуды, трехсаженные колбы, «доменные печи» и кривые бесконечных труб напоминали средневековые лаборатории алхимиков, и где — вот уже больше ста лет — легкое вино перегонялось в крепчайший коньяк, — рассказывал ему о ночных облавах и советовал найти на чердаке такой уголок, где-б его никто не открыл при самом тщательном обыске. Утром положение стало еще тревожнее: Крыса на своей мотоциклетке примчался сообщить Устирсыну, что местная французская жандармерия получила от Инзелькомендатуры приказ искать сбежавшего из батареи Котиньер русского в немецкой форме; подробно указаны его приметы и, по слухам, речь идет именно о том опасном террористе, который взорвал месяц тому назад главный пороховой склад на острове. Для слежки за ним посланы специальные немецкие патрули. «Чудаки, — подумал Устирсын, выслушав Крысу, — где моему Григорию Ильичу взрывать пороховой погреб: собственную шкуру он вряд ли способен спасти, а не то чтоб покушения устраивать». Но перед Крысой, чтоб не порочить русского имени, он лишь многозначительно промолчал.

Так или иначе, все эти утренние тревоги передались и Устирсыну и, подымаясь с обеденным узелком для Кожевни-

кова по длиннейшей лестнице, диагональю пересекающей стену средневекового ателье и ведущей на чердак, — он вдруг принял неожиданное решение.

В этой истории Устирсына особенно поражали странные повторяющиеся моменты, которые не предвещали ничего доброго. Как это бывает во сне, где кто-то кого-то ищет, находит, теряет, потом снова обретает после долгих поисков, лишь для того, чтобы этот кто-то, как Снегурочка, растаял в жарких, ищущих руках. И все эти поиски обычно сопровождаются душевной болью, ежеминутным риском и неизбежной катастрофой. Когда Устирсын выбежал ночью во двор за Кожевниковым и смотрел вдаль, на лунные поля, не слыша даже отдаленных шагов, — ушедший стоял рядом с ним у калитки. Когда Устирсын, не обнаружив Кожевникова на вокзальчике, мчался по дорожным канавам, пропавший был рядом за тонкой досчатой стеной. «Я же вас звал по имени, — недоумевал Устирсын, — почему вы не откликнулись сразу?» — «Видите ли, Владимир Григорьевич, я в это время смотрел в щелку билетного оконца, видел приближающийся автомобиль и ждал, чтоб он промчался мимо». И, помнится, Устирсыну не понравился этот ответ. «Обо мне то он не заботился», — злобно подумал он, но не настаивал на своей мысли, так как все это произошло до того, как фары осветили внутренность вокзальчика, чего не мог предугадать Кожевников.

Так и на этот раз, когда Устирсын поднялся на чердак, Кожевникова не было. Он прошелся несколько раз из угла в угол, стараясь не скрипеть половицами, ибо под чердаком работало несколько человек, заготавливающих дрова для дистилляционной печи. «Кожевников», — вполголоса позвал он. Он еще не знал, что в ближайшем будущем много-много раз будет звать Кожевникова в гораздо более тяжелой обстановке. В связи с только что принятым решением он как-то легко отнесся к новому исчезновению Кожевникова. «А черт с ним, будь что будет! Конечно, было бы лучше, если-б я сам его отпустил».

Эти размышления были прерваны странным звуком, напоминавшим лесное «ау»... Звук шел со стороны трех гигантских бочек, стоявших испокон веков на чердаке.

— Ау... Владимир Григорьевич, найдите меня.

— А ну вас к дьяволу! — вскипел Устирсын. — Нашли время для игры в прятки. Где вы?

— Я здесь, внутри бочки. Я не для игры — я для пробы. Вы же сами мне велели хорошенько спрятаться. Вот я и выясняю...

Действительно, спрятался Кожевников в высшей степени своеобразно: из трех бочек две были наполнены испорченным вином, в котором плавали дохлые крысы, а третья была порожней, если не считать множества пауков, заполнивших ее до краев плотной паутиной. Навсегда осталось для Устирсына непонятным, как Кожевников мог проникнуть внутрь бочки через маленькое отверстие, сквозь которое и ребенку было бы трудно пролезть. Новый Диоген пытался объяснить, что он очень худ, и что для этой операции ему пришлось раздеться чуть ли не до гола. Это отверстие в дальнейшем служило для Кожевникова единственной связью с миром: в него Устирсын просовывал ему еду, а Кэпфер, начавший свою службу в рядах героического Сопrotивления с самой черной работы, принимал от Кожевникова парашу, которую опораживал прямо в слуховое окно чердака. Что у Кожевникова было в избытке и помогало ему жить в холодные ночи — это коньяк, который Кэпфер фабриковал в том же здании и таскал ему бутылками.

— Ну хорошо, Кожевников, ссориться мы не будем. Нам надо серьезно поговорить. Я принес скверные новости, хуже быть не может. Нужно еще долго ждать okazji для переброски вас на континент: кроме усиления береговой охраны, по целым ночам вокруг острова снуют моторные лодки. На самом острове творится нечто страшное: сегодня в Сен-Пьере будут поголовные обыски. Я взвесил все возможности. Второй день я занят исключительно вашим делом. После неудачных



попыток помочь вам, я пришел к выводу, которому вам придется волей-неволей подчиниться.

Устирсын сделал паузу, чтобы придать своим словам больший вес:

— По немецким военным законам, солдата записывают в дезертиры после 48 часов его немотивированного отсутствия. В вашем распоряжении имеется еще несколько часов. Напейтесь пьяным, если нужно, я вам дам ведро коньяку, и возвращайтесь на батарею.

Из отверстия бочки высунулась рука Кожевникова, полусогнутые худые пальцы в мелкой дрожи выражали предельную степень мольбы:

— Заклинаю вас, Владимир Григорьевич, не делайте этого, не гоните меня туда. Мне нет возврата!

Устирсын продолжал настаивать.

И тогда Кожевников сказал:

— Меня будут бить, и я скажу **все, что знаю, и даже, чего не знаю.**

## VII.

Вот она — эта черная минута!

Эту фразу Устирсын будет повторять про себя много раз, чтоб не поддаться слабости, сомнениям и колебаниям при подготовке решительного акта. Он будет повторять ее потом и родным, и друзьям, и чужим, рассказывая эту печальную историю предательства.

— Хорошо, Кожевников, оставайтесь здесь. Мне кажется, вы так спрятаны, что вас никто не найдет. Тревожные дни пройдут, сношения с континентом возобновятся. Мы посадим вас в лодку и снабдим письмом, что вы являетесь членом нашей боевой организации. Главное, не забудьте довести свою винтовку — это единственный залог вашего освобождения. А пока я вам принес пообедать, кушайте, кажется, еще не совсем остыло... Я убедился, что вам действительно нет

возврата в «Мамут». Мы об этом говорить больше не будем. Вот и все. У вас никаких вопросов нет?

— Было что-то, — медленно, как бы просыпаясь, промолвил Кожевников. — Да вот забыл. Дайте вспомнить. Было что-то важное... Да, Владимир Григорьевич! Тут кто-то на чердаке слушает радио: кто это? Надо его остерегаться?

Устирсын сделал попытку рассмеяться:

— Да нет, Григорий Ильич, это свой человек, вы, наверное, заметили, что он слушает только лондонскую радиостанцию. Ведь немцы отобрали у всех местных жителей радиоаппараты из боязни, что они будут слушать Лондон, или еще хуже — Москву. Это один эльзасец, он в курсе дела и будет вам тоже помогать.

«Я скажу все, что знаю, и даже, чего не знаю» — повторял про себя Устирсын, спускаясь по чердачной лестнице. «Самое страшное, что могло случиться в нашей среде. Итак, мы имеем предателя, как каждая приличная подпольная организация. И, как таковая, мы должны его ликвидировать. Кто возьмет на себя эту тяжелую обязанность? Что знает Кожевников о нас? Не одна моя жизнь в его руках: тридцать русских его товарищей могут быть им выданы, мой шурина, которого позавчера арестовали, а кто из французов?» Устирсын ударил себя по голому черепу: «Старый дурак! Вот уж воистину лишился рассудка на закате своих дней! Как я мог проболтаться Кожевникову о Кэпфере? Ведь тот уже связан с Крысой, с механиком Тюффери и со столяром Шеффером, — еще четыре жизни. Да, да, это дело надо поскорее кончить. И не поручать его русским ребятам из немецких батарей, что было бы легче всего и сохранило бы белизну моих перчаток; дело это должен кончить я, без чьей бы то ни было помощи...»

В эту ночь Устирсын долго ворочался с боку на бок, несмотря на дневную усталость. Ход его мыслей был приблизительно такой:

«Если даже предположить, что свою сакраментальную

фразу Кожевников произнес лишь для того, чтоб «взять Устирсына на испуг», то остается вопрос, почему именно **этим** угрожал он? Значит, Кожевников не раз продумывал возможность предательства, как одну из форм своего спасения? Ясно, что он проговорился и, наверное, теперь жалеет о неосторожно сорвавшихся словах. Какая все-же черная неблагодарность: выдать людей, которые его прячут, кормят в голодное время, хотят спасти! Как бы то ни было, мысль, что Кожевников может всех предать, лишь изредка мелькавшая в сознании Устирсына, приняла вполне реальную форму. Поэтому нельзя было позволить Кожевникову снова соединиться с немцами; к счастью, это совпадало с его собственным желанием. И если в ближайшие два-три дня Кожевникова нельзя будет отправить на континент, останется одно... Устирсын вспомнил, что Антоненко, передавая свой план захвата батареи «Мамут», для чего нужно было снять всего трех часовых, на вопрос Устирсына о шуме выстрелов, спокойно ответил: «А зачем стрелять? Надо снять тихо, бесшумно...» Впоследствии, когда Устирсын рассказывал об этих днях богобоязненному староверу, Косте Хлопину, тот снял свою «пилотку» и торжественно перекрестился двуперстным крестом: «Что же, Владимир Григорьевич, **святое** дело, иначе вам нельзя было бы поступить. Собаке собачья смерть!» А Ваня Пронин писал: «Мы, русские люди, духом не падаем, будем вести борьбу до последней капли крови против наших угнетателей, поскольку наш русский народ и народ французский стоят и будут стоять до конца за прогрессивное человечество: око за око, зуб за зуб. Мы с вами идем рука об руку, нога в ногу на уничтожение этой подлой своры».

Главное, ни слова никому — ни французам, ни русским: нельзя в такое тяжелое время волновать людей, нельзя отравлять светлые души героев. «Чем мы, — укреплял свою слабую волю Устирсын, — прошедшие две войны и две революции, отличаемся от поколения наших отцов? Мы не только мечтатели — мы участники реальных дел. Мы — не герои

Достоевского, мучительно разрешающие мировые вопросы на жалком фактике убийства старухи-процентщицы. Мы, если брать уже факты из недавнего революционного прошлого, — не Чернов и не Савинков, которые, придя на квартиру к Азефу, после долгих душевных терзаний, так и не решились убить предателя. Нет, Кожевников не умрет естественной смертью, занимаясь на старости лет корсетным делом в Берлине. Ваня Пронин прав: «око за око, зуб за зуб».

Устирсын старался из брезгливости и по душевной деликатности не останавливаться на подробностях, обдумывая, как и где это произойдет. Между тем, для успеха дела не должна была быть забыта ни одна деталь. Делать это надо бесшумно, как говорил Антоненко. В уединенном сарае, где он пилил и колол дрова и где хранились садовые инструменты, земля очень рыхлая, в чем он убедился на-днях, закапывая оружие и секретные документы. На этот раз яму нужно выкопать достаточно глубокую, что потребует много времени. Когда все будет подготовлено, надо будет сказать Кожевникову, что, наконец, его лодка отбывает во Францию, привести его сюда, посадить около ямы, которую можно на всякий случай, чтоб не вызвать в нем подозрений, даже замаскировать, и, подойдя сзади, одним из инструментов, ну хотя бы тем, что служит для колки дров... «Ведь не для себя — бормотал, как во сне, Устирсын — а спасая несколько десятков жизней и наш общий идеал, которому мы клянемся служить до последней капли крови, вот, что я делаю, подымая руку на Кожевникова...»

...«Ведь не я же обмолвился фразой: «я скажу все, что знаю, и даже, чего не знаю», которая должна быть оплачена по высокому тарифу».

### VIII.

Наступил решительный день. Жизнь на острове шла своим чередом. Сношения с арестованными, энергичная деятель-

ность местного Красного Креста, освобождение некоторого числа арестованных, среди которых были и члены организации подполья (отрадный показатель того, что немцы арестовывали вслепую), даже наладившаяся загадочная жизнь в бочке, которую скромно вел Кожевников, удивляя нас своим терпением, все как будто утряслось, и наступила тишина, отдых после бурных дней. Прекратились обыски и облавы, так и не коснувшиеся Сен-Пьера. Но в душе Устирсына было полное смятение.

Думать, рассуждать, обращаться к прошлым поколениям, выносить решения было значительно легче, чем действовать. Чем глубже становилась яма в сарае, которую Устирсын копал, прячась от всех, даже самых близких, и придумывая ложные выходы из дому в город, чем ближе подходил срок, им же самим назначенный, тем более слабела его воля, угасал «священный огонь». Тяготила необходимость все это держать в себе, росло желание с кем-нибудь поделиться своей тяжестью. Он сурово гнал от себя все искушения.

Но чего это ему стоило? Он чувствовал себя злым, постаревшим. Дурное расположение духа приходило по совершенно ничтожной причине: иногда было достаточно, чтобы потухла трубка, или ложка горячего супа вдруг обожгла губы... Устирсын никак не мог осмыслить этого чередования мелочей быта, из которых составлялся день, мелочей почти апокалиптических. Стриндберг говорит, что жизнью управляют демоны. Невидимые, глухонемые, замаскированные под реальный случай, который можно всегда расшифровать и логически растолковать... Какой-то мелкий бесенок утащил в свою нору носовой платок, который только что был под рукой. Недавно купленная коробка спичек вдруг исчезла из кармана, а вечером этот же самый бесенок вкладывал в карман идущего спать Устирсына три едва начатых коробки! Кому было нужно, чтоб в темноте, разыскивая на чердаке парашу, поставленную для Кожевникова, Устирсын больно ударился коленом об острый угол доски, на которую опиралась бочка

Диогена, чтобы он, потирая ушибленное место, погрузил руку в какую-то мокрую дрянь, а через минуту, перед спуском по демонической лестнице, раздраженный, потерявший все, что еще осталось хорошего в страдающей душе, вдруг снова стукнулся головой о балку под крышей. Кому нужно было, чтоб в ночи, когда не к кому обратиться за помощью, последняя спичка, чуть вспыхнув, погасла, и Устирсыну пришлось долгие часы бессонницы провести с незаженной трубкой в руках, в тоскливом раздумьи над своей собачьей жизнью.

В утро решительного дня первой мыслью Устирсына было: «а что, если еще подождать? Кто назначал сроки?» Но записка, которую принес ему Кэпфер, решила судьбу Кожевникова. Крупным почерком, неровными буквами, писанными в темноте карандашом на клочке оберточной бумаги — значилось:

«Золотце мое, Владимир Григорьевич, спасибо за одеяло и подушку — эта ночь как раз была очень холодной. Прошу вас достаньте мне курицу, по возможности жирную. Я вам за все заплачу. Любящий вас, Григорий К».

«Да, ты мне за все заплатишь!» — грозно подумал Устирсын, прочтя записку — и решительным жестом повернулся к Кэпферу:

— Даю вам ответственное задание: к вечеру приведите его сюда, на кухню... Итти нужно не по шоссе, а садами и полем.

— А что? — вздрогнул Кэпфер и наивные его голубые глаза засияли радостью. — Есть лодка на континент?

— Да, сегодня ночью. Получено официальное сообщение, — солгал Устирсын, не сморгнув глазом.

## IX.

После этого разговора Устирсын ни разу не почувствовал сомнений и колебаний. Он вспоминал жирную курицу, и на

душе его снова воцарялось спокойствие. Решение его оставалось неизменным.

К четырем часам дня он должен был по делам службы зайти к одному виноделу в соседнюю деревушку, измерить особым аппаратом крепость вина, испробовать его качество и выяснить, сколько подвод и в течение скольких дней должны будут его перевозить — милая задача из арифметического сборника. Все это, из-за болтливости подвыпившего винодела, отняло от Устирсына много времени. Выйдя, он взглянул на заходящее солнце и ускорил шаг.

На окраине деревни Устирсына грубым окриком: «Назад!» — остановил немецкий патруль. Он оглянулся по сторонам — вокруг деревушки кольцом сжималась пехота. Сердце Устирсына дрогнуло: попал в облаву!

Надвигались сумерки, а часовой не отходил от Устирсына, несмотря на то, что документы его были в порядке, что градусовой аппарат, привлекая особое внимание обыскивавших его солдат, никак нельзя было принять за секретное оружие, и что он чрезвычайно энергично настаивал на необходимости срочно вернуться на завод. «Кэпфер через полчаса должен увести оттуда Кожевникова — думал Устирсын — через час они будут сидеть у меня на кухне». Согласно условию, Устирсын должен был до 9-ти часов отпустить Кэпфера домой, а Кожевникова свести в сарай. — «А что, если и там в этот момент происходит облава?»

Он не был в силах дольше оставаться в неизвестности. Несмотря на магическое слово «Кóньяк-фабрик», до сих пор служившее на острове своего рода паролем для рабочих завода, фельдфебель был неумолим. К счастью, около канала с оседающей на дне морской солью, Устирсын вдруг заметил одинокую фигуру офицера, сидящего на опрокинутой лодке и читающего книгу. После долгих торгов фельдфебель пошел на уступку: он согласился провести Устирсына к своему начальнику.

Устирсын уповал на свои знания немецкого языка. Он

прибегал к ним редко, хотя и знал, что его изысканная речь ласкала немецкое ухо и особенно должна была подействовать в таком захолустьи, как это заброшенная деревушка. Подходя к офицеру, Устирсын успел прочесть на обложке книги имя великого поэта, и его тотчас же осенила идея: он взял веселый, глуповатый тон, присущий господам ученым и поэтам и для них позволительный даже в тягостной обстановке облавы. Недаром в плену все немцы, влюбленные в ученые титулы, без всякой иронии называли Устирсына *Herr Professor*.

— Добрый вечер, господин обер-лейтенант, — сказал Устирсын, улыбаясь и приподымая над своей лысиной шляпу. — Какое странное совпадение: я только что шептал про себя стихи, которые, быть может, вы в то же время, в ста метрах от меня, сидя здесь, читали в книге. Вы помните?

Я слишком стар, чтоб развлекаться праздно,  
И слишком молод, чтоб не знать желаний.

Устирсын не лгал: он, действительно, только что вспоминал эти строки, но не по романтической ассоциации, которую разумел поэт, а в связи с тем, что чувствовал себя слишком старым, чтоб играть в игру террористов, с трупами, закопанными в сарае, и в то же время слишком молодым, чтоб угасить в себе страстное желание «итти рука об руку, нога в ногу на уничтожение этой подлой своры», как выражался Ваня Пронин.

Обер-лейтенант удивленно поднял брови, и глаза его оживились любопытством.

— Это из Гете? Не из «Фауста» ли?

— Из «Фауста»...

— Вы оказались правы: я как раз его читаю.

— Первую часть или вторую? — продолжал Устирсын, всеми силами стараясь поддержать интерес, который проявил к нему поклонник Гёте. — Я помню, в юности, когда я



учился в берлинском университете, мы презирали чтецов первой части и преклонялись перед теми, кого заставляли за чтением второй, мало кому известной...

— Если вы до сих пор еще слишком молоды, — улыбаясь ответил обер-лейтенант, — я могу вам открыть, что читаю вторую часть; но не слишком то восхищайтесь, читаю ее впервые и скучаю над ней.

Вступление к беседе было удачное, но Устирсын никак не мог остановиться, хотя и знал, как дорога каждая минута. Какой-то непостижимый рок приковывал его к месту и заставлял рассказывать, как в бытность свою в Потсдаме, он точно так же сидел на берегу Гавеля с книжкой Теодора Фонтане «Wanderungen durch die Mark Brandenburg», как он долго, по прочтении ее, завидовал полной и совершенной жизни поэта-бродяги, как, оторвавшись от чтения, увидел идущий мимо пароход, по борту которого, как некий сон, как некое чудо, сияли на солнце золотые буквы: «Теодор Фонтане!»

Всю эту беседу с немецким офицером было трудно свести с поэтических небес на бедный остров, на «Коньяк-фабрику», и Устирсыну пришлось потерять еще немало драгоценного времени, прежде чем он прорвал блокаду и, добившись победы, ринулся, все ускоряя ход, в сторону Сен-Пьера.

Х.

Было совсем темно, когда Устирсын, задыхаясь, как бегун на финише, неся к своему дому, проклиная старость и взывая к темному беззвездному небу: «Господа офицеры, верните мне мою молодость!»

Улицы уже были пустынные, часовая стрелка давно покрыла мрачную девятку, и из боязни наткнуться на ночной патруль, он, не доходя до завода, свернул в поле. Перепрыгнув через низкий забор и пройдя мимо сарая, он за-

глянул в слуховое окно. В темноте, как он ни напрягал свои кошачьи глаза, ничего не было видно.

И тогда он тихо позвал:

— Кожевников... Григорий Ильич...

Ответа не было.

«Ведь Кожевников ждет меня на кухне. Совсем потерял я голову», — сердито подумал Устирсын.

Завернув за угол сарая, он остановился, как вкопанный: по калитке его дома бегал свет электрического фонарика, освещавший зловещие серо-зеленые мундиры.

Первым его движением было бежать. К счастью, ночь была безлунная, и его никто не видел. Он прислонился спиной к стене и судорожно уперся растопыренными пальцами в холодные камни. Непреодолимая тяга к семье поборол в нем порыв к бегству. «Погиб. Обыск. Захватили Кожевникова и беднягу Кэпфера. Теперь ждут меня. Доигрался, таки до конца, мой друг Устирсын», — думал он, мучительно собирая все свое мужество.

В этот момент раздался звон колокольчика у калитки. «Что это? Кто-то из них случайно дернул за ручку, или они только теперь пришли?» Вслед за этим хлопнула кухонная дверь, и Устирсын услышал знакомый стук каблучков и певучий голос своей старшей дочери:

— Кто там?

— Мамзель, простите, что мы беспокоим вас так поздно, — сказал мужской голос на приличном французском языке, но с явным немецким акцентом. — Мы видели огонь за вашими ставнями, — кстати, свет нужно лучше камуфлировать, — и решились вас потревожить. Дело в том, что мы проходили мимо и вспомнили, что у вас в саду растет ель. Мы хотели бы ее купить, конечно, не сейчас, завтра: нам бы только знать, можно ли на нее рассчитывать?...

— Я не знаю, господа, спросите моего отца, — голос девушки задрожал. — Приходите лучше завтра. А почему вы именно у нас хотите отобрать ель?

— Не отобрать, мы хотим купить, конечно, с вашего согласия. А почему именно у вас? Вы же знаете, мамзель, тут на острове повсюду сосны. Завтра Рождество и нам без настоящего Танненбаума никак невозможно... А где же ваш отец? Ведь уже десятый час.

— Он здесь, — сказал по французски Устирсын, выступая из-за угла и подходя к калитке. — К сожалению, господа, я никак не могу уступить вам это дерево, оно у меня единственное и предназначается для той же цели. («Неужели завтра уже Рождество?» — недоуменно промелькнуло у него в голове). У меня трое детей и мы тоже хотим справить праздник. (Надеюсь, последний под вашим террором!). Вы в Сен-Трожанском лесу найдете несколько елок, поговорите с тамошним лесничим.

Поздние визитеры не настаивали. Щелкнули каблуками и удалились.

## XI.

Устирсын взял за руку дочь и, не входя на кухню, тревожно спросил ее:

— Анна, а Кожевников где?

— Ах, как я рада, папа, что ты здесь, — быстро заговорила Анна. — Мы тут переволновались, ждали тебя. Я тебе все расскажу... Все было так удачно, так прекрасно. И теперь точно гора с плеч. Какой у нас будет Сочельник!

Устирсын ничего не понимал. Он делал усилия, чтоб вникнуть в смысл произносимых слов.

— Но Кожевников где? — нетерпеливо спросил он.

— Идем, идем, я тебе все расскажу. Здесь холодно, я не одета.

Не к словам, а к тону, с каким они произносились, — веселому, ликующему, прислушивался Устирсын. Этого тона он никак не мог понять и оправдать.

— Да ты толком скажи, Анна, — уже раздраженно тре-

бывал он, входя на кухню, в которой никого не было. — Где Кожевников?

— Кожевникова увезли.

— Кто увез? — в ужасе воскликнул Устирсын.

— Как кто? Кэпфер мне сказал, что ты в курсе дела. Ты сам ему велел к 8-ми часам привезти Кожевникова, чтоб отсюда отправить его в Арсо.

— Да ведь это чушь, Анна! Ведь я соврал... то есть пошутил. Кто его увез? Умоляю, расскажи толком.

— Послушай, папа, отчего ты волнуешься? **Все шло, как по маслу.** Как только ты отправился к Рику, приехал на своей мотоциклетке Крыса и сказал, что сегодня ночью уходит лодка, что Кожевникова надо с завода к сумеркам перевести сюда...

— **Сегодня ночью уходит лодка?** — недоуменно повторил Устирсын.

— Какой ты странный, папа. Ведь когда я сбегала на завод и сказала об этом Кэпферу, он ничуть не удивился. С такой гордостью заявил, что приказ о переводе Кожевникова сюда он получил от тебя еще утром, и выполнит его в точности. К восьми пришли Крыса и Шеффер, который одолжил Кожевникову свой велосипед, — помнишь, тот, что даже немцы не хотели реквизировать. С ними был Жан. Знаешь, такой веселый парень, коммунист, который на одном собрании, узнав, что Ваня Пронин — комсомолец, тряс ему руки и просил меня перевести, что как раз накануне войны за продажу самого большого количества «Юманите», получил бесплатную поездку в Москву, которую не успел использовать, и что он счастлив видеть живого русского комсомольца. Этот Жан и есть, оказывается, знаменитый проводник. Потом пришли Кэпфер с Кожевниковым... Если-б ты видел Кожевникова! Немытый, грязный, весь в паутине! — свертывал папироску трясущимися руками, все рассыпал табак, потом попросил воды... А Кэпфер? Сиял, целовал его на прощанье, хлопал по плечу: «Брав рюсс», «вив Моску»... А если-бы ты видел,

жалкую фигуру этого «брав русс»! Жан с Кожевниковым, с велосипедами, ушли в сторону Арсо. Другие разошлись по домам... Ах, как я рада, — а ты, папа?

Устирсын стоял, низко опустив голову. Потом он снял свои большие роговые очки, тщательно вытер их носовым платком и посмотрел невидящим взглядом куда-то вдаль, поверх головы дочери.

Сдерживая прилив радости, — «да ведь завтра, действительно, Сочельник!» — он медленно, точно взвешивая каждое слово, тихим голосом ответил:

— Рад ли я, Анна? Я буду спокоен лишь тогда, когда лодка с Кожевниковым отойдет от берега. Нет, когда лодка причалит к **тому берегу**, только тогда я буду радоваться.

## ХII.

В доме не было ничего съестного — Устирсын решил заняться семейными делами, которые он в последние дни запустил. Чтоб получить небольшой кусок конины, он поднялся до рассвета и занял место в вытянувшейся на пол-улицы «мясной очереди». Кое-что ему удалось обменять на коньяк, и он возвращался домой не с пустыми руками.

Заметив его из окна, Анна набросила на плечи шубенку, из которой давно уже выросла, и побежала ему навстречу.

Устирсын просиял, увидев ее, и приготовился хвастаться успехами утренней беготни по добыче съестного, но по мере приближения радость его исчезала: у Анны было озабоченное, испуганное лицо.

— Папа, случилось несчастье, — прошептала она, подойдя к нему вплотную. — Рано утром заезжал к тебе Жан: он не довез Кожевникова — **он потерял его в дороге.** — На глазах у Анны появились слезы.

— Я это предчувствовал... Помнишь мои вчерашние слова? — Он обнял ее за плечи, и они медленно пошли к дому. «Никто, кроме меня, не отдает себе отчета в размерах про-

исшедшего несчастья, — пронеслось в мыслях Устирсына. — На этот раз мы действительно погибли. Боже, как грустно...» А между тем нежность к семье, к друзьям вооружала его странным в таком положении спокойствием. — Не огорчайся, Анна... Мы его найдем: он не мог уйти далеко. Но как Жан ухитрился потерять его? Где сейчас Жан?

— Он должен опять к тебе прийти. Он с Шеффром уехал в Арсо... Оказывается, Кожевников не умеет ездить на велосипеде. Проедет десять метров и упадет. Тогда Жан велел ему идти за ним пешком. Было темно. Кожевников его все время терял, а до берега надо было дойти к девяти часам. Жану приходилось возвращаться, тащить его. На третьем километре Кожевников не в силах был даже нести своей винтовки, не мог же Жан нести ее, при встрече с кем-нибудь это бы вызвало подозрения, — Жан взял у него лишь сумку... Кстати сказать, он привез ее тебе, ты ее спрячь. В конце концов Кожевников стал валиться на землю. Жан говорит, что ему еще ни разу не приходилось бывать в проводниках у такого экземпляра. («Ах, сукин сын, — думал про себя Устирсын, слушая взволнованный рассказ Анны, — даже собственную жизнь спасти не может».) Все-таки до Арсо все шло с грехом пополам: по счастью, они никого в дороге не встретили. Как на зло, за каких-нибудь пятьсот метров до конечной цели загремела подвода. Жан оторвался от Кожевникова, быстро прошел вперед: их вместе никто не должен был видеть. И вот, представь себе, проехала подвода, все стихло, Жан вернулся назад: Кожевников как в воду канул. Жан искал повсюду, проболтался в Арсо целую ночь, так и не нашел. Теперь он поехал с Шеффером, чтоб при свете дня изучить место его исчезновения. Ужасно, что лодка ушла и, конечно, без Кожевникова.

— А скажи, Анна, — они, разговаривая, уже вошли в сад и остановились, — что это была за подвода, которую они встретили?

— Знаешь, такая, на которой немцы возят продукты,

амуницию, — в общем, обозная...

— А Жан не слышал, останавливалась ли сзади него эта подвода, то есть, не могли ли немцы подобрать Кожевникова?

— Нет, я его не спрашивала.

— Это же и есть главное — знать, на свободе ли он, или уже в руках немцев.

— А скажи, папочка, об этом трудно говорить, но у меня такое ощущение, что Кожевников — не верный человек, как бы это выразиться — не мужественный, что-ли... — Анна слабо улыбнулась. — Если немцы его будут бить, он может нас всех выдать. У тебя нет такого впечатления?... Да, представь себе, негодяи так-таки и срубили этой ночью ель, — сказала Анна, поймав взор отца, упершийся в то пустое место сада, где еще вчера росла прекрасная, подлинно рождественская ель, единственная во всем Сен-Пьере.

— Я вижу, что срубили... — с грустью ответил Устирсын. — Нет, я не думаю, Анна: Кожевникову нет никакого смысла выдать нас. Но во всяком случае, во что бы то стало, его надо разыскать. — И про себя добавил: «живым или мертвым».

Устирсын кашлянул и, улыбаясь, наклонился над Анной:

— Не везет нам с Сочельником! Бедненькая моя девочка... Вот и елку нашу срубили... Как Володя огорчится — а?

### ХIII.

У Устирсына собрался военный совет. Он решил, наконец, довести до сведения товарищей истинное положение вещей, главным образом, для того, чтобы в поисках Кожевникова все проявили должную энергию.

Жан был уверен, что немецкая подвода не могла его подобрать. Столяр Шеффер (которого Устирсын в шутку называл гробовщиком, ибо в последнее время из-за усилившихся воздушных налетов союзников он мастерил только гроба) даже напал на реальный след исчезнувшего, что очень обрадовало Устирсына. Вчера, в десятом часу, один из родствен-

ников Шеффера, живший в деревушке Арсо, зашел к себе в сарай и наткнулся на вооруженного немецкого солдата. Оба были страшно испуганы. Немец, приложив указательный палец к губам, на скверном французском языке, главным образом жестами, объяснил хозяину сарая, что скрывается от ночного патруля, что он должен бежать на ту сторону пролива («Какая неосторожность со стороны Кожевникова, — подумал Устирсын, — а если бы его собеседник оказался милиционером или просто типом, работающим на немцев, каковых, увы, на острове немало...») и что он оказался здесь, так как потерял своего товарища. Хозяин, не доверяя его фантастическому рассказу и боясь, что тот просто забрался к нему с целью грабежа, уговорил ночного гостя покинуть сарай, под тем предлогом, что патруля уже никакого нет, что улицы безлюдны, и, вручив ему его велосипед, который он нашел тут же, проводил его со двора.

На военном совете больше всех волновался Крыса:

— Вам штатским это все — пустяки, просто посадят в крепость, а мне, как служащему в полиции, грозит смертная казнь! Ваш Кожевников отлично видел мой синий мундир и может легко описать его немцам. (Через несколько дней Крыса, — может быть, у него были и другие истории, — бежал с острова, оставив семью и сослуживцев, которых немцы всех до одного немедленно арестовали, таким образом ликвидировав на острове институт французской полиции).

Совет решил во что бы то стало разыскать Кожевникова.

На поиски вышло трое: Жан, Шеффер и Устирсын. Решено было тщательно обыскать все леса вокруг Арсо, а с помощью других членов организации, проживающих там, все жилые дома и сарай самой деревушки.

На случай встречи с немцами была взята сумка с хорьком для травли диких кроликов, — у Шеффера было официальное разрешение на этот запретный вид охоты.

На дворе стоял настоящий мороз. Даже не верилось, что в такой холод можно провести ночь в лесу и не замерз-



нуть. Земля была твердой как камень, на лужах лед не проваливался под тяжестью человека.

Три «охотника» пересекали лес по заранее обдуманному плану с тем, чтобы ни один квадратный метр не остался вне их изучения. Посредине, имея на известном расстоянии своих спутников, шагал Устирсын, не слишком громко звавший Кожевникова в регулярные промежутки времени. Жан порою забывал о настоящих целях экспедиции; наткнувшись на жилище кролика, он останавливался, впускал в дыру хорька и с неподдельным волнением, совсем не думая о Кожевникове, с сеткой в руках ожидал у другого отверстия подземного хода появления либо одного, либо другого зверя — обычно появлялся все тот же хорек, а не желанный кролик или заяц.

Монотонно звучало в лесу, в тишине морозного воздуха, устирсынское упорное и тоскливое: «Кожевников...» И какая была бы для него и для других необыкновенная радость, если бы откуда-нибудь — из оврага, из глубины кустов, или из густого переплета сосновых ветвей, наконец, из кроличьего подземного жилища, — раздалось бы это ликующее, освобождающее от всех забот последних дней, протяжное, лесное:

— А-а-а-у-у... Ау, Владимир Григорьевич, ищите меня... Это я... Это я, Григорий Ильич.

Но из очередной норы неизменно появлялся все тот же хорек, и Жан, ругаясь, возвращался к действительности и начинал проклинать Кожевникова:

— Ни за что его нельзя оставить в живых. Мы его не отправим на тот берег, если-б даже сегодня снова уходила лодка. Ни там, ни здесь не нужно такое сокровище, и нам позор, что мы завербовали такого бойца... Тут недалеко, за лесом, я знаю, есть старинный колодец — мы туда его и препроводим, — с каким-то наслаждением говорил Жан, входя во все подробности, которые так коробили Устирсына. Его возмущала грубость и простота его юного друга, на совести которого до сих пор были лишь кролики, при мысли о возможности совершить «оправданное законом героической борь-

бы преступление», тем более, что он улавливал в тоне Жана нечто наигранное, фальшивое.

Устирсын устало шагал, стараясь не вникать в болтовню Жана, думая лишь об одном, машинально повторяя охрипшим голосом:

— Кожевников... Кожевников...

### XIV.

Сочельник и первый день Рождества целиком ушли на эти бесплодные блуждания по лесам. Поиски в деревушке Арсо тоже ничего не принесли. Кожевников сгинул без следа.

Но Устирсын прекратил свои экспедиции лишь на четвертый день, когда бледный, на себя не похожий Крыса привез ему страшную новость, шедшую из немецких источников: Кожевников, переодетый в штатское платье, был арестован ночью, по дороге в Сен-Пьер, около винокуренного завода. Повидимому, он мечтал достигнуть своего старого жилища.

Это известие, сильно напугавшее его товарищей и фактически явившееся самым страшным из слухов последнего времени, не произвело никакого впечатления на Устирсына. Все в его душе перегорело, и чем сильнее вырисовывалась реальная опасность, тем спокойнее и мужественнее становился он. Все стало как настоящий сон, и как сон встретил бы он свой арест и допросы и как сон, если-б на то пошло, свою собственную смерть.

Еще через два дня из тех же источников пришла официальная информация, что опасный русский террорист, которого власти энергично искали в течение последних двух недель, расстрелян на взморье около батареи «Мамут», в рыбацьем поселке Ля Котиньер.

Только тогда Устирсын решил ликвидировать оставшуюся от погибшего походную сумку, и по своей склонности к бухгалтерии и любви к аккуратным записям, решил составить точный инвентарь содержимого для передачи его товарищам Кожевникова.

Деликатной его душе выпало еще одно, последнее испытание. Осторожно и брезгливо извлекая из сумки различные вещи, он вдруг рассыпал по полу порнографические открытки и мужские гигиенические принадлежности. Охваченный отвращением, он бросился их подбирать и судорожно кидать в горевшую печь, поминутно оглядываясь на дверь, в страхе, что в комнату могут войти его дети. Когда все сгорело, Устирсын подумал, что ведь он не вправе был этого делать и долго стоял над инвентарным списком, не зная, как быть, записать ли сожженное.

Что еще запомнилось Устирсыну, это бритвенный прибор Кожевникова, целая стопка ножей от безопасной бритвы; на каждом конвертике, на оборотной стороне, где в письмах ставится имя отправителя, крупным почерком была выведена его подпись и значились день, месяц и год их вероятного использования, причем некоторые даты были многолетней давности.

Когда Устирсын кончал свой инвентарный список, кто-то постучал в дверь. Он быстро сунул сумку под старенький диванчик, оглянулся вокруг, не забыто ли что-нибудь, и впустил в дом своего соседа-электротехника. У того был явно таинственный вид, он готовился чем-то удивить Устирсына.

— Шер мосье, — и по этому торжественному вступлению Устирсын понял, что его посетитель приступает к главному, — я только что нашел в своем сарае очень интересную вещь. Там кто-то скрывался. — Подняв вверх указательный палец, он перешел на шопот, — и, судя по количеству окурков, сидел там несколько дней. И вы знаете, мосье, что я думаю? Это был тот знаменитый итальянский офицер, который недавно бежал с острова.

— А почему вы думаете, что это был именно он? — спросил Устирсын.

— А вот почему.

И гость, торжествуя подняв брови, опустил руки в карман и с осторожностью извлек оттуда большую крообку от папирос.

## Н о в о с е л ь е

— Вы, наверное, знаете итальянский язык?

— Итальянский не знаю, но латынь еще не забыл и, вероятно, пойму.

— Вот, переведите, пожалуйста, что здесь написано, — сказал сосед, горя любопытством, и передал Устирсыну коробку, на крышке которой значилось: «Kyriazi № 6».

Устирсын открыл ее и начал читать. Через минуту он снял очки и с интересом взглянул на соседа:

— А где находится ваш сарай?

— Разве вы не знаете?... А вот... — и он указал в окно. — Вон в том пустующем вокзальчике, я снял половину дома.

На крышке с внутренней стороны крупным знакомым почерком, дрожащим карандашом, было написано по-русски:

«16-ое декабря 1944 г. Григорий Ильич К... из «Мамута». Жизнь или смерть. Здесь мне нашли убежище. Провел ночь и день. Что день грядущий мне готовит... паду-ль я пулею пронзенный?»

На дне коробки Устирсын читал дальше:

«Батарея «Мамут» проклятая. Шеф не человек, а зверь. Жуть одна. Мне сорок лет, а умирать не хочется. Но — при неудаче — придется пустить себе пулю в грудь. Оружие при мне. А в руки не дамся живым... Принимаю избиения, побои и расстрел...»

По краю коробки, на месте сорванной бандероли, стояла одинокая строка:

«Так умирают советские люди».

## XV.

В конце апреля 1945 г. я получил в Париже срочный вызов в Марэн, ближайший к острову городок на континенте, где находилась ставка моего начальника.

Незадолго перед этим я был выслан немецкими властями с острова. Перейдя демаркационную линию и, оказавшись, наконец, в свободной Франции, я тотчас-же добрался до Марэн

и предложил свои услуги для продолжения борьбы с немцами, с тем, чтоб меня отправили назад, в тыл противника. Какая-то неопреодолимая сила тянула меня туда, где были мои боевые товарищи и где продолжал вести подпольную работу мой родственник и старый друг Владимир Григорьевич Устирсын.

Начальник нашей партизанской группы, которого я видел впервые, так как до сих пор, будучи на острове, получал от него лишь письменные приказы, — отнесся к моему предложению со вниманием и обещал, когда я понадобится, вызывать меня на работу.

Этого вызова я ждал довольно долго и потому был особенно рад, что милый мой капитан не забыл меня и сдержал свое обещание. Мои парижские друзья, которым я показал письмо, отговаривали меня от этой поездки: война уже была на исходе и остров Олерон, все еще остававшийся занятым немцами, должен был освободиться своими усилиями.

Столько лет мы мечтали об этом часе, так долго, рискуя всем, готовились к нему, что мне казалось преступным не присутствовать на празднике освобождения.

Я как на крыльях летел в Марэн!... Покинув в Ниоре парижский поезд, останавливая по дорогам попадавшиеся мне машины, то в американском джипе, то на грузовике, то даже на мотоциклетке, — на всем, что двигалось в родную сторону, — я мчался и все же опоздал и не мог участвовать в первой перестрелке, завязавшейся на Сен-Трожанском пляже, куда высаживались французские войска.

Впоследствии друзья мои рассказывали, что я высадился на остров Олерон «верхом на танке». Мы очень ревниво относимся к нашим военным подвигам, и нам кажется самым большим оскорблением, если кто-нибудь укажет, что в том или ином бою наше бедное сердце дрогнуло. Верные и глубокие мысли на эту тему мы можем найти в «Набеге» Льва Толстого и в его изумительных севастопольских рассказах. Я знал лишь одного человека, который всегда правдиво описывал свои переживания в минуты опасности — это был

Устирсын. И может быть потому, — подумают некоторые читатели из числа «строгих», — что Устирсын, повидимому, лицо вымышленное, и автор волен наделять его любыми качествами.

Во всяком случае, я высадился на остров в танке не только потому, что боялся... замочить ноги. И было это так. Ездили ли вы, или плавали когда-нибудь на танках-амфибиях? Это род моторной лодки, поставленной на автомобильные колеса. Вы двигаетесь по дороге с обычной автомобильной скоростью и не сворачиваете в сторону если перед вами открывается река, озеро, море или даже сам Атлантический океан. Ваш автомобиль смело погружается в воду, вы лишь приводите в движение винт под кормой и продолжаете мчаться со скоростью моторной лодки. Моей амфибией управлял толстый американский негр, что заставляло меня думать, что мы делаем высадку не на скромный остров Олерон, а на какие-нибудь Филиппины: столько самолетов, столько танков, столько орудий всех калибров, столько тысяч солдат. А наши тридцать русачков, все еще работающие в тылу у противника, десятки раз предлагали французам, при условии самой скромной поддержки, в любой день и час овладеть всеми батареями этого участка «Атлантической стены». Находившееся на моей амфибии 75 м/м-ое орудие, довольно плохо, на скорую руку привязанное и подпертое к бортам, при каждом движении волн толкало меня в бок, — я боялся не доехать до острова и быть раздавленным еще в дороге. Поэтому, воспользовавшись моментом, когда вылавливая труп немецкого офицера, мы причалили к плоту, сооруженному из пустых бочек из-под бензина, шедшему на буксире, я перебрался на этот плот. А когда он уперся в песок Сен-Трожанского пляжа, около хорошо знакомого мне устричного парка, и нужно было, сходя на берег, войти по колени в воду, я предпочел взобраться на танк «Вулкан», на котором и проехал часть острова и даже участвовал в легкой перестрелке под Гранд Виллаж, где я, — надеюсь, в последний раз! — понюхал пороху и где я — в

первый раз! — был на стороне победителей.

По сведениям, полученным мною еще в Париже, как раз в день освобождения Антоненко, от которого немцы так ничего и не добились, был в конце концов арестован Устирсын, несмотря на свою «стену непроницаемой печали»; он был заключен в «Счастливый дом», бывшую летнюю колонию для детей, превращенную немцами в тюрьму для взрослых. Вот почему я так спешил в сторону Бойардвилля, где еще гремели орудия и где на опушке у взморья, окруженный колючей проволокой, возвышался «Счастливый дом».

Это был единственный в своем роде случай: автор освобождает своего героя из тюрьмы, куда посадил его не он, а немцы; сам автор мчится «верхом на Вулкане» на выручку своего героя, чтоб даровать ему долгожданную свободу! И это я делал исключительно по литературным соображениям, чтоб устыдить моего «строгого читателя», которого я только что сам вызвал на обвинение меня в досужем вымысле. Если уж пошло на взаимную откровенность, то позвольте вас спросить, мой строгий читатель, с какого момента вы перестали верить мне и Устирсыну: в рассказе ли о высадке на остров или в событиях, происшедших до этого? Это вопросы совсем не праздные, как может показаться на первый взгляд: история с Кожевниковым мне особенно дорога, и дорого мне в ней бесконечное сплетение обстоятельств, вызванное каким-то странным законом случайностей и совпадений. Все в жизни сложно и нелепо, все похоже на беспорядочный, хаотичный сон. А, между тем, мельчайшие детали, при внимательном их изучении, рисуют стройную линию единого сюжета.

Сейчас перед моей новой встречей с Устирсыном, после пятимесячной разлуки — в житейском плане, и двадцатилетней — в плане литературном (мой первый рассказ, в котором фигурирует Устирсын, появился в печати в 1926 г.), у порога «Счастливого дома» в Бойардвилле, я хочу остановиться на том месте, где в этой повести оставил его читатель. Я хочу понять, как это случилось, что человек, который в тече-

ние двух недель терзал Устирсына и даже произнес те слова, за которые должен был уплатить «по высокому тарифу», как выразился Устирсын, — как этот человек, будучи арестован, и, конечно, беспощадно избиваем на допросах, ибо немцы делали все усилия, чтобы обнаружить нашу организацию, пал, сраженный их пулями, **так никого из нас и не выдав**. Потустороннее послание, которое Устирсыну показал его сосед-электромеханик, как-будто указывает на то, что Устирсын трагически заблуждался, приписывая Кожевникову предательские наклонности и что слова, так испугавшие Устирсына, были лишь неудачно выраженной угрозой, так же, как его выступления с «шоколадом» и «жирной курицей».

Может быть, центр моральной тяжести в этой истории надо переместить на самый конец? Да, Кожевников жил плохо; что стоит одно его ночное путешествие из Сен-Пьера в Арсо, в передаче Жана. Человеком он был определенно трусоватым и не Бог весть каких душевных качеств. Тем не менее, он кончил так, или **почти** так, как герой острова Олерона, Владимир Антоненко, который 1-го мая 1945 г., в день нашей высадки на остров, взорвал несколько орудий на батарее «Мамут» и «пал пулею пронзенный» в яростном бою — один против всех — за несколько часов до занятия батареи французским авангардом.

Коротко говоря, все дело в последней фразе Кожевникова: **«Так умирают советские люди».**

Le Parc de Saint-Maur  
9-ое апреля 1946 г.



## МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Композитор, пишущий о музыке, да еще о чужой (о своей писать не принято) — или очень храбрый человек, или очень плохой дипломат. В музыкальных и театральных кругах авторы избегают стычек с прессой; как бы не был критик неправ, как вопиюще не было бы его незнание элементарных истин, спорить с ним или, упаси Боже, письменно на него огрызаться, неизменно приносит плачевные результаты. Критик вовсе не обязан опубликовывать нападки своих жертв; это и не в его интересах — особенно, если у жертвы хорошо подвешенный язык и бойкое перо.

Композитор-критик, т. е. человек наделенный музыкальными и литературными способностями, часто оказывался могучим фактором в развитии музыки своего времени. Из ярчайших примеров прошлого назову Шумана, Берлиоза и Дебюсси. Писали все трое блестяще, а ценность и новизна их музыки была дополнительным оружием в их руках. Отметим, что современные им критики грызли их с особенным удовольствием; неспособные на творчество, они творили разрушение. Но разрушить не удалось ни музыку, ни литературные труды смелых пионеров: Гансликов и Фетисов теперь не читает никто, а писания Шумана, Берлиоза и Дебюсси по сей день выходят в новых изданиях.

В Америке необходимо констатировать положительное явление: около половины нью-йоркских критиков — композиторы. Это вторжение совершилось безболезненно, но уже принесло много добра. Пишущий музыку теперь предстает на профессиональный суд своего коллеги, человека знакомого с творческим процессом, тянувшего незавидную композиторскую ляжку и поэтому способного на конструктивный, а не журнально-поверхностный анализ.

Помимо профессионального подхода, композитор-критик будучи почти всегда человеком «своей эпохи», отлично разбирается в стилистическом направлении рассматриваемого им композитора и живо сочувствует всему истинно свежему и отходящему от академического трафарета. Оттого такие ха-

рактерные рутинеры как Кребиль или Шотцинов — американские представители закоренелого бекмессерства — в наши дни почти окончательно выродились, как выродились и сентиментальные дамы, любительницы львиных грив и иностранных акцентов, этого сексуально-пленительного арсенала заезжих виртуозов. Современный американский критик, даже и не пописывающий музыку, равняется на новые устои, на новые твердо внедрившиеся ценности и разумно шарахается от претенциозного любительства или гладенькой посредственности. Все это к лучшему, но подойдем вплотную к «новым устоям» и посмотрим, так ли, и всегда ли ценны они.

В американской музыке теперь наблюдается нечто вроде «возрождения»; если быть точным, я сказал бы, собственно, «рождения», потому что американский голос зазвучал по-своему лишь в последнее двадцатилетие. До этого, кроме прекрасного негритянского песнетворчества и чисто эпигонского академизма местных композиторов, у Америки не было характерного музыкального лица, хотя такие люди как Чарльз Айвс или Валлингфорд Риггер работали уже давно, а если и незаметно, то не по своей вине. Их, попросту, никто не играл. Музыкальный урбанизм двадцатых годов — Варез, Реггис и другие — указал на возможность возникновения «американской школы» на принципах звукового отображения «небоскрежной» цивилизации. Эта возможность, как я отметил раньше, оказалась нежизнеспособной; ничего не вышло и из г. н. продолжателей Гершвина, прельстившихся внешне-легкой формулой концертного «облагороженного» джаза. За исключением Гершвина, никому не удалось сделать симфонизацию джаза сколько-нибудь приемлемой; как ни маникюр бродвейскую девчонку, а в греческую богиню ее не превратишь. Бывали нечастые проблески — например, прелестный «Fancy Free» Леонарда Бернштейна, в котором джаз подан в остро-сатирическом преломлении, и кой-какие из мелочей Мортон Гюльда, композитора на редкость неровного и безвкусного, но не лишенного таланта.

Если не урбанизм и не концертный джаз, то по каким путям пошла местная музыка? Ведь это музыка демократии, мужественных здоровяков ковбойской, шахтерской или атлетической складки; музыка молодых авантюристов, потомков золотоискателей и недавних иммигрантов, голыми руками пробивших себе дорогу. Следовательно, речь идет о певучей, мускулистой, доходчивой, об откровенно **народной** музыке?

Ошибаетесь, читатель. Такую музыку в Америке пишут немногие. Большинство молодых, подчас чрезвычайно способных людей заворожено чарами казалось бы давно упраздненного «искусства для искусства».

Этот девиз впервые появился в трудах Виктора Кузена (1792-1867), французского литератора и философа; принцип искусства, как «вещи в себе» (по прокофьевскому определению) проповедывали такие различные люди, как Беранже, заявивший: «искусство есть искусство и это все», английские декаденты конца 19-го столетия и Игорь Стравинский «последнего периода», который длится уже больше двадцати пяти лет.

Стравинский и Сен-Санс, не натянутое ли сопоставление? В идеологическом смысле — несколько; как композиторы, эти двое сходны лишь тем, что в начале оба писали живописную программную музыку, а в зрелые годы уверовали в псевдо-классицизм, как единственное спасение.

Чтобы убедить читателя в их идеологической тождественности, не обойдусь без цитат. «Искусство самоценно и в своей самоценности оно достигает высот величия... Первая прелюдия из «*Wohltemperirtes Klavier*» Баха ничего не выражает, а вместе с тем, она является музыкальным чудом\*). Это Сен-Санс, а вот Стравинский: «Я считаю, что музыка, по самой своей сущности, бессильна выразить что бы то ни было». В этой же «Хронике моей жизни» Стравинского мы находим следующее: «Человек никак не может понять, что музыка существует сама по себе»... Однако, Сен-Санс не только понимал это, но и сказал по своему много много раньше.

Шуман еще в свое время ополчился на тех, кто «не может поверить, что музыка обладает силой выражения страсти». Как бы предвосхищая модную у нас теперь «игру звуков» и «заботу о звуковой материи» (Стравинский), Шуман добавляет: «Музыкальное искусство было бы ничтожным, если бы оно владело лишь звуками и не заключало в себе символа, предназначенного выразить различные движения души». Ему вторит Берлиоз: «Только музыка может говорить одновременно воображению, уму, сердцу и всем чувствам».

От концепции музыки, как искусства отвлеченного, оторванного от жизни, человеческих эмоций, радостей и страда-

---

\*) Перевод всех цитат сделан редакцией «Новоселья».

ний, мы отошли, думается, давно. Она была неизбежной реакцией против эксцессов постимпрессионизма. «Призывы к порядку» (по выражению Кокто) периодически появлялись в музыкальной истории; они играли роль противоядий и, выполнив свое назначение, давали место активной и здоровой работе. Излишества ранних романтиков сменились мендельсоновской дисциплиной; Берлиоз, Лист и Вагнер, в свою очередь, угробили сухарей-мендельсоновских; неоклассицизм Брамса был столь же нужен для искоренения раздувшейся литературщины, как возвращение к музыке «прежде всего» (тот же, но по новому поданный неоклассицизм) Стравинского, Прокофьева и Гиндемита в момент общего пресыщения декадентской анархией. Вернув музыку на рельсы, можно было рвануть вперед, приобщить к ней рядового слушателя, дать ему здоровую, добротную музыкальную пищу после сублимного импрессионистического режима. Другими словами насытить его давно не достижимой **мелодией**. Такова формула музыкальной «доходчивости» в Советском Союзе, где в первую голову композитору советуют равняться на требования масс. Известны истории с Шостаковичем, сперва с «Леди Макбет Мценского уезда» и совсем недавно с «Девятой симфонией». С вердиктами советских авторитетов можно не соглашаться (я лично считаю «Леди Макбет» и фортепианный квинтет лучшими произведениями Шостаковича), но «ставка на универсальность» куда жизненнее самого виртуозного формализма.

Что сказать о Франции? Со времен Дягилева ее молодежь отказалась от лабораторного подхода к музыке. Отдавая дань безупречному мастерству Стравинского и Равеля, она, чисто по-французски, расшаркивалась перед их обособленной эстетикой, но, столь же по-французски, предпочитала собственный путь — путь «*musiquette*», не менее доходчивой для парижской публики, чем, скажем, «Тихий Дон» или «Седьмая симфония» Шостаковича для москвичей.

В послевоенные дни во французскую музыку вернулись: религиозный пыл (Oliver Messiaen), неошубертовский романтизм (Henri Sauguet), мелодический полусалонный шарм (Poulenc) и даже постимпрессионистическая оркестровая палитра (Manuel Rosenthal). Группа «Молодой Франции» (Messiaen, Baudrier, Jolivet, Lesur), сформировавшаяся в Париже десять лет тому назад, выросла и утвердила свои позиции; первым их шагом по заключению мира был спокойный

и скромный «призыв к работе» (а не только к порядку!), опубликованный в возобновленном журнале «Revue Musicale».

Привожу выдержки: «Великие произведения, которые в период между двумя войнами пользовались успехом, снова его теперь обретают, благодаря своей выразительности и лиризму». И дальше, о «доходчивости»: «Музыка должна быть действительна и доступна слушателю, следовательно, мелодична; мелодия, способная беспрепятственно развиваться и поддерживаемая гармонией, необходима... Здесь автор статьи возвращается к священным заветам Гретри, говорившего, что гармония должна рассматриваться «лишь как опора мелодии — как пьедестал статуи». Заключение чрезвычайно важного и показательного призыва Жоливе дает нам убедительную формулировку классицизма в плане общечеловеческом, а не снобически-лабораторном. Считая, что проблема мелодии характеризует классическую эру, он надеется, что в поисках непрерывности мелоса «будет засыпана пропасть между творцом и аудиторией; музыка снова станет неотделимой от каждого проявления трудящегося человечества, и вновь обретет свой настоящий смысл — социальность».

В занятом диалоге между Лесюром и Бодрие — другими представителями «молодой Франции» — мы находим решительный выпад против формализма в псевдоклассической маске. Лесюр замечает своему собрату: «Я думаю, вы не считаете настоящим классицизмом кристаллизацию стилей прошлого, которая присуща некоторым наиболее знаменитым нашим предшественникам». Что может быть прозрачнее. Тот же Лесюр разрешается лаконическим, но метким афоризмом: «Отказаться от эмоций, это значит отказаться от самого источника музыки».

Вышеприведенного достаточно, чтобы убедиться в окончательном отходе сознательных музыкантов России и Франции от изолированного от жизни искусства. В Америке же, по свидетельству одного из более культурных критиков-композиторов, Марка Шубарта, молодежь проявляет «отсутствие музыкальной живучести и боязнь эмоционализма или, вообще, любого сильного чувства». Талантливый Поль Боулс считает «строго безличное отношение» очень характерной особенностью местного музыкального мышления. Таким образом, несмотря на советско-американские музыкальные сношения, на франкофильство Виргилия Томсона и его группы —

американские юноши покорно прислушиваются к нравоучениям добровольного отшельника Стравинского. Каждым новым его произведением принято восхищаться; раскритикуйте Прокофьева или Шостаковича (отношение к ним местных снобов можно назвать снисходительно-терпимым) — никто не запротестует, но робчайшее сомнение по поводу последней вещи Стравинского вызывает яростные обвинения в святотатстве. Курьезно, что причина этого вовсе не в уважении к огромным заслугам Стравинского в прошлом; американским эстетам импонирует именно его сегодняшняя творческая деятельность.

Я не принадлежу к стану рутинеров, для которых композиторский путь Стравинского завершился «Свадебкой». Такие люди ослеплены импозантной красочностью «Петрушки» и «Весны»; оголение оркестра и отречение от театральных эффектов свидетельствует, по их мнению, о внезапном упадке. Я считаю высшей точкой карьеры Стравинского «Симфонию псалмов» (1930), которая, несмотря на все туманные авторские комментарии, была и останется великолепным монументом чистой музыки. К сожалению, после этого шедевра каждая новая вещь композитора вызывает во мне чувство острого разочарования и неизменной досады на искусственность именно той «*tendue*» которую, как бы священнодействуя, предписывает себе — и своей аудитории — Стравинский.

Большие мастера прошлого, писавшие в циклических формах (сюита, соната, симфония) организуя «звуковую материю» опирались на рельефный и выразительный тематический материал, а также на искусную его разработку. Для находки нужной тематики необходима неподдельная мелодическая выдумка; мелодистами «прежде всего» были все «абсолютные» композиторы от Баха до Прокофьева. Что Стравинский не одарен мелодическим талантом, кажется, не оспаривает никто. Темы его всегда отличались или чрезмерной лаконичностью, или недостаточной напевностью, или откровенной несамостоятельностью. Однако, так велика была сила его таланта, так упорен волевой элемент, что в творчестве его нередко моменты мелодического очарования, без наличия подлинного мелодического рисунка (песнь рыбака из «Соловья», многое в «Весне» и «Свадебке», поэтическое заключение «Аполлона», послужившее моделью для многих «замораживающих апофеозов», анданте фп. концерта и, особенно, вся последняя часть «Симфонии псалмов»).

Теперь эти оазисы мелоса исчезли вовсе. Вместо различных, хотя бы и скудных тем, Стравинский облюбовал т. н. «урезанную» линию — внезапные срывы и паузы, играющие, по мнению его сторонников, важнейшую формальную роль. Но даже заядлые «стравинскисты» не отрицают его мелодической бедности — было бы что «урезывать»! В восторженной статье о последней симфонии Дональд Фуллер признается, что «мелодический интерес минимален» и объясняет это тем, что «Стравинский никогда не был особенно убедителен в своем лиризме». Становится ясным, что за отсутствием тематики — тематическая разработка физически невозможна. В этом убедился и сам композитор, отлично ориентирующийся в пробелах своего арсенала. По свидетельству его официального комментатора и друга, Ингольфа Даля, «место разработки заняла «additive construction», изобретением которой Стравинский справедливо прославился и которая оказала такое сильное влияние на молодых композиторов». Я, признаться, и не догадывался, что Стравинский «справедливо прославился» этим курьезным изобретением; на меня музыка, построенная по «формальному принципу», толкующему ее, по словам Даля, «как последовательность ясно очерченных строительных единиц («clearly outlined blocks»), ставит крест на возможности непринужденного наслаждения ее текучестью.

Мне всегда казалось, что именно импрессионисты страдали отсутствием ясно выраженной мелодики и формальной аморфностью — пристрастием к паузам, замедлениям и внезапным нервным восклицаниям; теперь такая манера письма преподносится, как интегральная особенность «новой» абсолютной музыки — есть в чем запутаться. Запутался в этой риторике и сам Ингольф Даль, напоминающий чеховского профессора в «Скучной истории», который писал не то, что хотел: «Когда пишу конец, не помню начала».

В начале своего детального анализа новой симфонии Стравинского (1945) Даль заявляет, что в ней отсутствует разработка; в конце же ошеломляет читателя утверждением, что «разработка (последней части) достигает высочайшей изобретательности и сложности». В середине статьи есть упоминание о «тематических зародышах». По поводу этого выражения композитор Израиль Циткович сказал мне: «Тематические зародыши нельзя было бы различить, если бы не было тематического развития». Но это не все. Даль пишет,

что в симфонии налицо «нечто абсолютно противоположное классической и романтической симфонической мысли», а к концу внезапно спохватывается и сообщает, что первая (струнная) тема второй части «ассоциируется с «цирюльником» Моцарта и Россини и подтверждает сродство Стравинского с классическим стилем». В предпосылке же имеются намеки на связь симфонии с мировыми событиями («В один прекрасный день будет признано, что белый дом на холмах Голливуда, где была написана эта симфония, и который многим представлялся башней из слоновой кости, был так же близок к сердцу воевавшего мира, как и место, где Пикассо писал Гвернику»). Я лично считаю, что сопоставление этих катаклизмов с веселым цирюльником непонятно и неуместно. Кстати, «ассоциация» Стравинского с Моцартом и Россини — явление обычное. Ни один из композиторов прошлого (не говоря уже о настоящем) не отличался такой любовью к переделкам, реминисценциям или просто отзвукам своих предшественников. В некоторых случаях это откровенная «стравинскизация» оригинала — Перголезе в «Пульчинелле» (удачная во всех отношениях), Чайковского в «Поцелуе феи», от которой не поздоровилось ни Чайковскому, ни его «реставратору». Между прочим, термин «стравинскизация» я заимствовал у самого Стравинского, который в своей «Хронике» говорит о «мейерберизации» Римским-Корсаковым «Бориса Годунова». В большинстве случаев Стравинский сознательно «оглядывается» на крупных композиторов прошлого, уснащая свою музыку подчеркнутыми и остро вывернутыми архаизмами и даже нарочитыми анахронизмами. «Мавра» есть конгломерат «жесточкого» ромansa, Глинки и Даргомыжского. Из биографии французского критика Андре Шеффнера (1931) мы узнаем, что Стравинский, говоря о своей фп. сонате, сознавался, что сочинял «завитого Бетховена»; в эпоху «Аполлона» композитор открыл виолончельные сюиты Баха, которые его вдохновили на вторую вариацию «Аполлона»; в том же «Аполлоне» использованы мелизмы, «которыми не пренебрег бы Делиб» (Шеффнер); в каприччио появляется веберобразное фп. письмо; в фп. концерте довлеют Бахи — Филип-Эммануил и Вильгельм Фридеман; в «Эдипе» мелькают Гендель и Верди; в конце «польки» для цирковых слонов Ринглинга неожиданно затесывается шубертовская тема и т. д., до бесконечности. Как всегда, у Стравинского все эти «точки соприкосновения» расставлены заранее, строго обду-



маны и преподнесены с безупречным вкусом, что лишний раз свидетельствует об его огромном мастерстве: но свидетельствует это и о неизлечимой страсти к стилизации, к произвольному пастишу двадцатых годов, а, быть может, и о неуверенности в своих творческих силах.

Констант Ламберт, чья характеристика Стравинского весьма показательна, т. к. он сам усердно «пастишировал» классиков, случайно оказался пророком. В «Music Ho!» он пишет: «Было время, когда нам твердили, что вся правда в Бахе, потом — в Чайковском, а если завтра Стравинский произведет синтетического Грига, нам, конечно, скажут, что Стравинский всю свою жизнь стремился к свежести и гармонической прелести этого норвежского «композитора». Недавно мне привелось услышать «Норвежские настроения» Стравинского под его же управлением. Тень добродушного Грига покорно благословила очередную прихоть композитора. Возможно, что такое, не совсем платоническое увлечение музой прошлого вызвано совершенным равнодушием Стравинского к своим музыкальным современникам. В «Хронике» он достаивает некоторых из собратьев вежливо-безучастными отзывами, на манер хорошо воспитанного хозяина, дарящего гостей приличествующими случаю комплиментами. В интервью с Хауардом Таубманом (26-го января 1946 г.) Стравинский «дал понять, что он не следил за музыкальным развитием в России за последние годы; тем не менее он находит, что музыка там пошла назад, а не вперед». Насчет Прокофьева он заявил, что находит его «менее интересным, чем прежде». Хотя всякому, кто в курсе музыкальных событий, очевиден неудержимый рост Прокофьева со времени его возвращения на родину — от «Лейтенанта Кижэ» к «Пятой симфонии», не только лучшему произведению композитора, но и лучшей симфонии, написанной в наше время. Контраст между этой музыкой и творчеством «переходного периода» слишком разителен, чтобы пройти незамеченным, слишком разителен для всех, кроме Стравинского и его последователей. Переходя к американской современности Стравинский сознается, «что не считает себя ее знатоком». Что же касается джаза, то «он не находит в нём ничего нового со времен первой мировой войны».

Суммируя вышесказанное, я хотел бы задать Стравинскому вопрос, являющийся буквальной цитатой из его «Хроники»: «Should any consideration at all be given to

those... whose attitude when confronted with contemporary works is one of bored indifference?» (стр. 128 американского издания). Быть может, Стравинский воздерживается от критических отзывов, т. к. не только презирует критиков, но и не допускает возможности критики вообще. Объясняя журналистам свою «Персефону», Стравинский поставил им на вид, что «здесь нечего обсуждать и нечего критиковать... Нос не делается по заказу: он имеется и дело с концом. Так и мое искусство» (Лондон 1934). Местный критик Франсис Перкинс, несмотря на такое доказательство бесполезности всякой дискуссии, решился на возражение. «Нос, это — нос. Он может быть римским или орлиным, он может вам нравиться или не нравиться. Стравинский может иметь любой нос, но у нас есть право одобрить или не одобрить его».

Стилистическая неустойчивость Стравинского всегда была парадоксальной стороной его таланта; быть может, его «верный путь» и невозможен без постоянных уклонов и отворок. Но педагогическая целесообразность его методов мне кажется сомнительной; молодые последователи Стравинского усердно «урезывают» мелодическую линию, отрешаются от лирики, закапывают эмоцию и, что особенно печально, бесповоротно уходят от жизни, от участия в мировой перестройке. Поскольку Пикассо является одним из величайших деятелей искусства современности, постольку нельзя не констатировать, что этот непрестанный экспериментатор, создавший все указы, все варианты живописной моды, перешел в своем творчестве к социальным проблемам; Пикассо не остался в стороне от политических сдвигов. В музыкальной области, для многих вульгарный и «нецивилизованный» Гершвин тем и значителен, что его опера «Порги и Бесс» является первой попыткой американского уличного эпоса; в ней трогает пронзительный и жалобный голос обездоленного человечества.

В этом же направлении работает — на совсем иных началах — Марк Блицштейн, после сатирических опер с отзвуками Курта Вейля нашедший более широкую канву в эпической «Парашютной симфонии». В этом произведении, несколько рыхлом и неустойчивом по форме, налицо все здоровые признаки народного песнетворчества в концертной оправе: это, собственно, не симфония, а попытка спряжения солдатской песенности с большими циклическими формами. Попытка эта увенчалась успехом и указала другим композито-

рам на жизненность доходчивого и в то же время музыкально-респектабельного языка. Несколькими годами раньше Аарон Копланд написал школьную оперу «Второй ураган», руководствуясь тем же принципом; эта опера, простая и трогательная по музыке (явление крайне редкое у Копланда), почему то не привилась, быть может, из-за ограниченного масштаба — расчета на школьное юношество.

«Иеремия» Леонарда Бернштейна другая показательная, хоть и не зрелая вещь; в ней симптоматичен общеврейский лиризм — не раздирающие вопли Эрнста Блоха, а сдержанная, элегическая напевность (финал с контрольно соло). В другой области работает неутомимый Бернард Геррман, один из лучших дирижеров радио, чемпион несправедливо забытой старой музыки, а равно и новой, прозванной другими дирижерами. Геррман — лучший американский композитор फिल्मовой музыки; его партитуры к фильмам «Гражданин Кэйн», «Все, что могут купить деньги» и пр. нанесли смертельный удар халтурному цинизму голливудских ремесленников и их бесстыдным «перепевам» вечных страдальцев — Чайковского, Дебюсси и Рихарда Штрауса. Отличительной чертой Геррмана является стремление к синтезу музыкального интереса и массовой доходчивости.

Двое из наиболее талантливых американских композиторов, работающих в камерной области — Теодор Чанлер и Поль Боулс — лирики чистейшей воды; лиризм спасает их от еретической догмы и добровольного умерщвления музыкальной плоти. Песни Чанлера (особенно циклы «Эпитафия» и «Дети») едва ли не наивысшая гордость музыкальной Америки; по своей человеческой проникновенности и поразительной простоте, вкупе с большим мастерством, эти горькие песни достойны общего признания и перевода на все языки. Песни Боулса, композитора технически не всегда уверенного в себе, полны своеобразного обаяния. Мир Боулса — мир тропического фольклора (ему особенно удается мексиканский жанр) и незатейливых танцевальных ритмов деревни. Перечисленные композиторы мне наиболее близки по духу и по направлению. К ним можно прибавить Давида Даймонда, разностороннего и умелого музыканта и Израиля Цитковича, автора отличного струнного квартета и романсов, приближающихся к манере Чанлера.

Крупнейшие имена в Америке — с точки зрения газетного стажа и количества исполнений — Аарон Копланд, Рой

Гаррис, Самуил Барбер и Вильям Шуман. Об этих композиторах стоило бы написать целый этюд, чтобы дать возможность читателю разобраться в причинах их успеха. За отсутствием места ограничусь краткими характеристиками. Копланд — знаменосец американской музыки, занявший ряд официальных и почетных должностей, умнейший техник и работник; умелый манипулятор ограниченного музыкального материала и аскетический оркестратор, доведший «оголение» оркестра до крайних пределов. За последние годы Копланд завоевал и популярный успех вереницей намеренно доходчивых пьес — «Rodeo», «Billy the Kid», «Lincoln Portrait», «El salon Mexico». Лучшие моменты этой музыки заставляют считать его американским Шабрие; но погоня за популярностью низводит, например, «Портрет Линкольна» до уровня «случайных» работ для Радио Сити. В Копланде отсутствуют непосредственность и шарм — если не считать самих ранних опытов; его большие симфонические полотна страдают отсутствием «дыхания» и мелодической привлекательности. Взамен этого — судорожное топтанье на месте, знакомые уже нам «срывы» или, характерное для Копланда, своего рода визгливое кликушество. Типичный образчик — его часто исполняемая фп. соната.

Самуил Барбер хороший композитор средней руки. У него все на месте: благообразная тематика, солидная школа, добросовестная, но сероватая оркестровка и безошибочный нюх к своевременным эффектам. Очень редкое достоинство в наши дни. Музыкальные качества Роя Гарриса, в космическом значении которых уверены его ученики, часть прессы и сам композитор, мне не совсем ясны; в третьей его симфонии (наиболее успешной) есть известная сила и напряженность, но очень мало музыки. Гораздо талантливее бывший ученик Гарриса Вильям Шуман, давно причисленный к разряду «многообещающих». Его хоровые пьесы с оркестром дышат молодостью, звонкой уверенностью и чисто американским наивным добродушием. К несчастью, последние его большие вещи отличаются досадной нескладностью (фп. концерт, симфония для струнных) или, попросту, отсутствием музыкальных достоинств. Шуман, однако, молод и энергичен; он найдет себя. К мэтрам надо причислить и Вальтера Пистона, которого многие называют американским Гиндемито, композитора вооруженного блестящей и гибкой техникой, но несколько безличного и рассудочного. Недооцененный Дуглас Мур часто

пишет хорошую «добротную» музыку и способен на такие воспарения, как «Дьявол и Даниель Вебстер», без пяти минут удачную американскую оперу. Из старших мастеров, находящихся в несправедливом загоне у «большой публики» назову удивительного Чарльза Айвса, которым Америка может справедливо гордиться. Подобно художнику Эйлшмиусу, Айвс предвосхитил современные изощрения еще в конце 19-го столетия, когда нонакорды Дебюсси казались дерзостью. Упомяну еще о Валлингфорде Риггере, одинаково способном на абстрактные курьезы и на волнуемую музыку для масс и, наконец, о незаслуженно обойденном Гарольде Моррисе, фп. концерт которого (под управлением Кусевицкого) вызвал большие восторги лет десять тому назад. Чрезвычайно важна деятельность двух старших композиторов академического толка: Димса Тэйлора, директоора «АСКАП», и Хауарда Гансона, который в Рочестере неустанно насаждает новую американскую музыку. Возвращаясь к молодежи, отмечу убежденных «стравинкистов»: Бергера и Шапиро. А из иностранцев, утвердившихся на американской музыкальной сцене, назову талантливого оперного мелодиста Джан Карло Менотти (автора прелестного балета «Себастиан»), совсем молодого, но уже выявившего себя Лукаса Фосса, чья нашумевшая «Прерия» не обошлась без Копланда и пятерых, по разному значительных русских американцев — Лопатникова, Лурье, Набокова, Березовского, Хаева, — не считая маститого и неизменно активного А. Т. Гречанинова. Они являются продуктами русской музыкальной культуры и неверно было бы включить их в реестр американских музыкальных сил; они заслуживают отдельного разбора. К слову, есть вопиющая необходимость в статье о зарубежной русской музыке.

Почти все перечисленные в статье молодые композиторы вышли в люди, благодаря неоскудевающей энергии С. А. Кусевицкого. Детище его — Танглвуд — стало Меккой музыкоискателей Америки; есть указания на то, что холм, у подножия которого расположен этот музыкальный лагерь, станет новым Парнасом, к которому будут стекаться поэты и музыканты обеих полушарий. Американским же музыкантам можно только пожелать поскорее сбросить узду формализма и выковать всенародное искусство, рука об руку с первенствующими музыкальными нациями — Россией и Францией.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

(«Русский Сборник»)

1.

Два поколения эмигрантских писателей представлены в парижском «Русском Сборнике», вышедшем в середине 1946 года. В нем объединены и «маститые», справляющие юбилеи, и «молодые», приближающиеся к весьма почтенным годам. Но, конечно, произведения, напечатанные в книге, делятся не по возрастному признаку, а по теме и литературной манере. Казалось бы, что представители старшего поколения естественно тяготеют к изображению прошлого, а молодежь говорит о настоящем. Но в действительности воспоминаниям предаются Зуров или Пантелеймонов, а на современность откликаются Ремизов и Тэффи. Исключение составляет Бунин, но ведь почти все рассказы и повести Бунина в эмиграции, — «в поисках утраченного».

«Зойка и Валерия», открывающая беллетристический отдел сборника, далеко не лучший образец бунинского творчества последних лет. Некоторые эротические детали рассказа не оправданы художественной необходимостью, и их подчеркивание разбивает единство впечатления. Но «Зойку и Валерию» нужно, конечно, судить в связи со всей группой бунинских замечательных рассказов о любви, объединенных под заглавием «Темные аллеи». Один из героев «Темных аллей», старый генерал, встретивший на постоялом дворе женщину, которая отдала ему свою красоту тридцать пять лет тому назад, говорит: «как это сказано в книге Иова? как о воде протекающей будешь вспоминать». И все последние произведения Бунина — воспоминание о минувшем огне, об однажды вспыхнувшей страсти, о невозвратном прошлом. Они построены на обычном для писателя противополжении земной прелести и ее брэнности. Бунин — один из немногих русских художников, изображающих очарование бытия, чувства и

чувственности. Он описывает то, что кажется ему самым главным и почти невесомым в воспоминаниях о прошлом: волнение любви, то трепетное напряжение человеческого существа, от которого весь видимый мир вдруг становится ослепительно звонким и неповторимым. Юноша в «Апреле», напоминающем «Митину любовь», репетитор в «Русе», навек запомнивший узкие ступни своей возлюбленной, герой «Натали», смотрящий с обожанием в черные глаза молодой девушки, Левицкий в «Зойке и Валерии», не вынесший любовного унижения, — все они связывают самые острые моменты своих переживаний с утренней росой на траве сада, с синим и бездомным небом русского лета, с бесцельной красотой звездной ночи, с тысячью земных примет. Это озарение — блоковский «короткий миг и тесный» — не может быть длительным. Острота ощущений и чувства — вспышка, ее нельзя удержать. Отсюда — неизбежная трагичность всякой любви. У Бунина все его герои тоскуют по невозможном — длительном счастье, для которого человек не создан. Не случайно почти все рассказы Бунина кончаются катастрофой: умирает прекрасная Натали, едва ее любовь, после мук и страданий, достигает своего расцвета; муж женщины, уехавшей на Кавказ, пускает себе пулю в лоб; у русского парижанина, под старость встретившего тепло и ласку — разрыв сердца в вагоне метро; подруга романиста, Генрих, погибает от руки своего прежнего любовника на пороге новой жизни; Левицкий, которому Валерия отдается не по любви, а из отчаяния, бросается под поезд. На первый взгляд все эти развязки неожиданны, на многих читателей они производят впечатление какого то удара ножом, точно художник, не зная, что сделать со своими героями, насильственно обрекает их на смерть. Но внутренне эти концы совершенно оправданы: в них выражается бунинское убеждение в том, что истинное чувство всегда трагично. Мы хотим, чтобы оно было на всю жизнь, а оно — на одну ночь, как в «Солнечном ударе», или на несколько недель, как в «Русе» или «Тане», и если его пытаются сделать незыблемым, оно превращается в скуку и пошлую привычку или мстит гибелью. Поэтому в памяти у бунинских героев остается лишь то, что было срезано на лету, что не успело снизиться и сохранило чудесную яркость подъема.

В «Зойке и Валерии», как и в других рассказах Бунина, поражает и восхищает художественная зоркость и четкость.

Быть может одна из тайн его творчества и состоит в этой изумительной способности изображать все земные детали, в том остром чувственном видении, которое он вызывает у читателя. И в то же время это умение передать звук, запах, объем, цвет, движение, напоминающее Толстого, вся эта реалистическая точность и тщательность соединены у Бунина с лирическим порывом, который связывает все разбросанные черты внешнего мира и делает их значительными и слитыми с человеческими мыслями и эмоциями. Удивительно, что это художественное мастерство не ослабело и по сей день, и что перейдя за седьмой десяток, Бунин может с такой изобразительной силой говорить о прелести природы, о волнении любви, о наводнении страсти и о вечной, но иллюзорной тяге человека к недостижимой полноте бытия.

2.

Бунин и Ремизов — две линии русской литературы. Если Бунин — наследник Тургенева и по лирическому ощущению жизни, и по тяге к формальному совершенству, и по реалистическому подходу к материалу, — то Ремизов связан с «почвенниками», обращающимися к протопопу Аввакуму в далеком прошлом и к Гоголю и Лескову в XIX веке. Впрочем, у Ремизова есть и более близкие предки: символисты. Сейчас он единственный крупный представитель поколения младших символистов, сыгравших такую огромную роль в развитии нашей поэзии и прозы.

Средний эмигрантский читатель всегда не дооценивал Ремизова. Ему трудно было примириться с затейливой словесной вязью ремизовского письма, со всей игрой его интонаций, намеков и символов, с причудами его тонкого юмора, в котором так неожиданно сочетается «любовь к малой твари» и едкость жестокой иронии. Но каково бы ни было отношение широких читательских кругов, для любителей литературы всегда было очевидным, что Ремизов — писатель исключительного мастерства и глубины. В этом лишний раз убеждаешься, читая «Мышкину дудочку» в «Русском Сборнике». В этом рассказе раскрывается не только ремизовское «волшебство» — его фантастика быта, соединение реалистической детали с вымыслом сказочника, переход от гротеска со всякими гримасами, «Ядрилами» и рожами к сдержанной лирике или изображению трагических переживаний. «Мышкина дудочка» про-



никнута такой болью за все живое, что страницы ее вызывают подлинное волнение. Главное в ней — не стилистические находки или извороты, а необычайная чуткость писателя к человеческому страданию и грустное понимание всех несправедливостей и обид наших дней.

Ремизов рассказывает о нищем, голодном и холодном быте «скотских лет» войны и оккупации, во время которых и он сам, и тысячи людей прошли «сквозь огонь страстей», о борьбе за кусок хлеба, выдаваемого по скудным карточкам, о соседях, исчезающих по гитлеровскому приказу, потому что они евреи, обо всем унижении человека, придавленного насильем и бесправием. «Мышкина дудочка» — самое «современное» из всех произведений парижских писателей, дающая гораздо более непосредственное ощущение нашей эпохи, чем подробные описания фактов и происшествий.

Тэффи откликается на человеческое страдание с такой же болезненной остротой, что и Ремизов, но ее миниатюры «Цепь» написаны в совершенно иной манере. Тема их — дни войны и германских зверств, когда, по ее выражению, ангел смерти косил людей во всех четырех стихиях: «на воде топил, на земле морил, в воздухе губил, огнем сжигал». Спокойно относиться к этому Тэффи не может. Она и себя и других считает включенными в огромную цепь братства и сочувствия. «Ангел смерти свое дело делает; и если мы душой, ласково и скорбно, провожаем погибающих, мы тоже делаем «наше дело». Тэффи рассказывает о маленьких жертвах великих событий, размышляет о них, болеет за них и описывает несколько «простых душ», у которых даже наше нечеловеческое время не могло убить жалости и немудрой веры в любовь. Особенно хорош рассказ «Сердце», о русской парижанке, постоянно ругавшей своего старого пса, но отказавшейся от противогазовой маски: «я буду в маске сидеть жива и невредима, а проклятая собака тут же рядом будет издыхать? Да что вы, с ума сошли, что ли?» Если бы люди относились друг к другу по крайней мере так, как полунищая эмигрантка к своей якобы ненавистной собаке, жить было бы гораздо легче — вот, собственно, и вся идея очерков Тэффи. Она напоминает нам, что есть души, веселящиеся о спасшихся, и души, плачущие о погибших — и призывает к поминовению всех страждущих и умирающих.

Конечно, есть в этих рассказах и сентиментальность, и некоторая примитивная очевидность, и слишком явное желание

растрогать читателя и тем повлиять на его нравственное сознание, — но им нельзя отказать в драматической выразительности. Они написаны в обычной для Тэффи почти разговорной манере, метким языком, с обилием отлично подмеченных характерных бытовых и психологических деталей.

Ремизовым и Тэффи, в сущности, и ограничивается отклик прозаиков «Русского Сборника» на современность (я не разбираю статей Бердяева и Адамовича).

В какой то мере промежуточное положение занимает Ставров («Мадмуазель Бланш»). Герой его рассказа, безработный Болотов, живет в материальной скудости и нравственном убожестве. Его окутывает атмосфера разложения и безнадежности, и чтобы отомстить сытому и благополучному миру, который он винит за свое падение, Болотов совершает нелепый и отвратительный поступок: в результате его минутного физического сближения с горбуньей Бланш, продавщицей газет, разрушена возможность ее брака с лысым французом рантье. Подобно Селину, Ставров усиленно подчеркивает уродливые бытовые детали, и его человек из подполья сладострастно копается в собственном позоре, жестокости и подлости. Писатель, хотел, очевидно, выразить в «Мадмуазель Бланш» «чувство неблагополучия» в мире, но замысел не соответствует выполнению: рассказу не хватает художественной убедительности, он искусственен и претенциозен.

Н. Рошин пишет о собаке, спасенной им во время немецкой оккупации Парижа и о щенке, ставшем его другом. И люди, и собаки в его рассказе какие то неживые (Рошину следовало бы поучиться у Тэффи, как надо изображать животных!). Связь его описаний с «обстановкой» оккупации чисто внешняя, а лирический пассаж о России в самом конце рассказа производит впечатление ненужного привеска. Произведение Рошина — наглядный пример того, что включение хронологических или внешних признаков современности в повествование еще не делает его современным.

Другие беллетристы «Русского Сборника» не совершают даже и этой попытки. А. Ладинский размышляет о Риме и об Юлиане в отрывке, написанном ритмической, почти скандированной прозой. Римские стилизации Ладинского, холодноватые и иллюстративные, всегда казались мне гораздо менее удачными, чем его прекрасные стихотворения.

Л. Зуров вспоминает о Петрограде августа 1917 года («Астория»). Как и в других отрывках автора о той же эпохе,

его герой — молодой офицер, приезжающий в столицу с фронта и попадающий в дурманящую атмосферу гостиницы «Астория». Никакого сюжета или действия в предлагаемых Зуровым страницах нет. Это длинное описание «среды» и социальной обстановки. Его основной недостаток — многословие, усугубляемое слишком частыми повторениями. Вместо того, чтобы выбрать типические образы и построить описание на немногих характерных, но ярких деталях, Зуров с чрезмерной обстоятельностью разворачивает перед читателем весь собранный ими материал. В этом избытии тонут хорошо подмеченные отдельные штрихи, удачные наблюдения или зарисовки второстепенных персонажей.

Б. Пантелеймонов тоже вспоминает — о дореволюционной России. Его занимательный рассказ «Святой Владимир» — о первом пароходе на Таре, притоке Иртыша, и о трагикомических приключениях его гордого и незадачливого капитана, написан весело, размашисто, непритязательно. Надо только посоветовать Пантелеймонову не менять роли рассказчика на совершенно ему неподходящую роль публициста.

Я совершенно не собираюсь требовать от эмигрантских писателей, чтобы они отражали в своих произведениях современность. Такое требование не может быть оправдано ни эстетически, ни практически. Не существует никаких правил, указывающих, какую именно тему должен выбирать художник. Всякие попытки навязать ему форму или содержание его творений приводят лишь к однобокости и худосочию искусства. Мы отлично знаем, что главная обязанность писателя повиноваться своему внутреннему приказу, тому непреодолимому побуждению, становящемуся необходимостью, без которого нет и не может быть подлинного творчества. Писатель должен говорить о современности, если он чувствует в том настоятельную необходимость.

Несомненен один весьма любопытный факт: писатели старшего поколения, как Ремизов или Тэффи, такую необходимость ощущают, а представители молодых ее не обнаруживают. Чем объясняется такое странное положение? Неужели тем, что «отцы» ближе к традиции русской литературы, всегда отзывавшейся на непосредственные волнения современности, а «дети» оторвались от нее?

Но быть может причина в ином — в том, что определяет и своеобразный характер эмигрантской поэзии. «Молодые» не пишут о современности, потому что они в ней не участву-

ют, ибо они оказались за границею на ролях «свидетелей истории». Поколение, выросшее за рубежом, лишено корней, и может только описывать тоску от собственной «междупланетной» отрешенности. Русские парижане во время войны и немецкой оккупации на все происходящее во Франции взирали, как иностранцы, и на события в России, как изгой. Иначе трудно объяснить, почему они не отозвались на эти события или, по крайней мере, не рассказали, что они чувствовали, слыша на берегах Сены или Средиземного моря об осаде Ленинграда и битве за Волгу.

Повторяю: я не обвиняю, а устанавливаю факт. Вероятно, лишь очень немногие из парижских поэтов и прозаиков (напр., Андреев, Варшавский, Сосинский, Газданов в изданной по французски книжке о встречах с русскими партизанами) ощутили боль и кровь, ужас и порыв этих лет с той силой и интенсивностью, которая предшествует естественному и свободному творческому акту и создает непреодолимую потребность художественного воплощения. Если бы современность в различных ее проявлениях заполняла их сознание, они бы выразили ее либо в непосредственных описаниях, либо в косвенных и осложненных откликах. Но очевидно такой прочной связи между писателями и действительностью нет, и они уходят в воспоминания, в самоуглубление, в «бегство от жизни». На этих путях могут выжить только такие мастера, как Бунин; среднего эмигрантского писателя тут ждет художественное бессилие и гибель. И над этим должны задуматься те немногие представители эмигрантской литературы, которые хотят сохранить «душу живу» и найти выход из творческого тупика.

## ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Выставка Добужинского «Сады и интерьеры Ньюпорта» была своего рода открытием Америки, дотоле не представленной в такой живописной цельности. Развешенные по стенам небольшие картины, сверкающие гаммой синевато-коричневых тонов, представляются собранием миниатюр, пленяющих благородной строгостью вкуса и очарованием тихой нежности. Созданное Добужинским значительно переходит за пределы его первоначального замысла: изобразить в ряде этюдов усадьбы замкнутого уголка Америки, сосредоточенной в созерцании былого. Добужинский увидел и передал особую кротость пейзажа, почти русское его смирение, и, несмотря на внешнюю роскошь американских усадеб, их внутреннюю скромность. В собрании написанных им картин старого Ньюпорта поражает единство, как будто это одна поэма: каждая картина — только строфа в общем поэтическом творении. Создалось это помимо сознательной воли художника, без всякой подчеркнутости, без придуманного замысла, а только силой проникновения во внутреннюю жизнь вещей. Сама модель не являла собой ничего существенно нового и новой явилась только благодаря живописной передаче Добужинского. Старинные обстановочные ансамбли, огромные каминные, кресла и стулья в стиле Шератона и Хепплауайта, итальянские обстановки с фресками на стенах, причуды золотой лепки, существуют и в старых городках, вроде вермонтского Вальполя, и в ценных собраниях «американского крыла» нью-йоркского и бостонского музеев, с указанием имен владельцев и собирателей. Но там они хранят глубокое молчание и кажутся лишенным жизни скелетами былого.

Добужинский одел их всем очарованием живописного мастерства, окружил сонмом воспоминаний, тенями людей со страстями и чувствами и смягчил их пышность красотой окружающей природы. Он прислушался к тому, что могут они, свидетели долгих жизней, молчаливые спутники людей, рассказать. Изысканно сдержанной кистью он передает длинную историю поколений, незримо присутствующих в еще живых,

еще носящих следы их пребывания «интерьерах». Добужинский передал отблеск жизни, покоящийся на вещах, которые подобно домашним ларам, хранителям очагов, невольно вбирают в себя свойства и характер людей. Одним из его методов является раздвигание стен: ни один интерьер не заперт, все обладают перспективами во внутреннее помещение, либо в виде анфилады комнат, либо в виде вьющейся лестницы, или открытой двери в переднюю, где на стул брошена шляпа. И там, где затворены двери, в силу контраста создается настроение домашности, сосредоточенности. Ничто не застыло, все одушевлено наполняющей их людской жизнью, и какой жизнью. Добужинскому удалось дать каждой комнате, иногда даже банально обставленной, свой ярко выраженный характер, свой драматический смысл, свою определенную «личность». Симметрию кресел он разрушает скользящей синевой цветка, желтым бликом прозрачно-тонкого букета в глубине, голубизной фарфора, сгущенной солнечностью сквозь спущенные жалюзи. И хочется повторить, применительно к этой выставке, сказанное о поэте: «И скольких жизней голосом твоим искуплены томление и мука». Голос у Добужинского особенный в хоре художников: застенчиво нежный и человечный в передаче сокровенного. Сколько бы ни смотреть его картины, с их прелестью красок и рисунка, всегда можно уловить еще новое, отметить какую-то выразительную деталь.

Картины его, посвященные Ньюпорту, можно назвать портретной галлереей, настолько ярко выступает индивидуальность каждого интерьера, в котором раскрыта не только внешняя, но и внутренняя жизнь. Начинается серия Ньюпорта торжественной золото-красной столовой. Коричневая массивность огромного стола, вызывающего в памяти длинный стол, за которым Генрих Наваррский трапезовал со своими домочадцами в родовом своем замке, обрамлена тяжелым золотом в ряд уставленных стульев с красной штофной обивкой; позолоченные лепные стены завершают горделивую пышность столовой. Множество эффектных деталей в лепке стен, в отделке стола, и аккорд золота с основным красным тоном создает ансамбль, один из лучших среди лучших на выставке.

В запущенной усадьбе высокая трава закрывает почти до половины статую, устремленную вперед, будто зовущую. Замечательно написанная блекло-зеленая трава не сливается в общее пятно, а стоит отдельными стебельками вокруг поки-

нutoй богини. Пейзаж забвения и одиночества. Среди такой травы мог гулять Лаврецкий в «Дворянском гнезде».

В весеннем пейзаже, на сером фоне далекой воды, рассыпаны по берегу низкие плоские домики, в отблеске плывущих над ними разорванных облаков, в сквозном покрове оголенных ветвей, и среди них желтый букет рано расцветшего дерева. Деревянной колоколенкой высится сельская церковь, — как будто этот общий вид Ньюпорта занесен откуда-то с берегов Чусовой. Добужинский подсмотрел внутреннее сходство двух бескрайних стран и выразил его красками.

Темная церковка дана на отдельной пустой улице, со скромной оградой: в ней нет и тени богатства окружающих ее усадеб; облик ее говорит о смирении. К лучшим на выставке относятся две картины внутренности церкви, с открытым в безбрежность окном, еще как будто наполненной звуками только что затихших молитв.

На нескольких картинах — лестницы с кружевными перилами, тяжелыми коврами, просветами окон, высокими хорами; выделен смысл входа, который внушает почтение и в то же время приветливо приглашает войти. Железо и мрамор, красная ковровая тяжесть смягчены лаской падающего света, уютом бегущих вверх ступеней. И какова бы ни была биография владельца, один из входов с задумавшейся среди цветов статуей, неожиданно говорит о забвении и печали.

С особым увлечением написаны библиотечные комнаты, в которых тоже дана многокрасочность жизни. В одной из них опущенные желтые жалюзи смягчают яркость лучей, под которыми горят иллюминационным весельем корешки книг, мягкими колорами зовут пестрые подушки. В другой библиотеке с бюстами на первом плане, с тщательно выписанными картинами на стенах, с витринами, поблескивающими стеклом, все выдержано в сурово-серых тонах, полно культа книги и глубокой серьезности.

В разнообразии парадных комнат Добужинский осуществляет чисто живописную задачу. Одежда комнат для него служит такой же моделью, как одежда принцесс у художников восемнадцатого века. Там, где самая комната не представляет должной оригинальности, он исправляет ее распределением букетов, живописным сочетанием тканей и контрастом видящейся сквозь раскрытую дверь анфилады. Очень хороша в «черном и белом» массивная столовая в итальянском стиле, со стенными фресками.

В серии садовых пейзажей отчетливо выступает настроение тургеневских усадеб. Газоны лужаек со статуями и колоннами белых домов сменяются тихим уголком с опустевшим трельяжем, с задумавшейся о прошлом статуей в потемневшей зелени сумеречного сада. Или веселая игра цветов у оранжереи — прелестный по свежести пейзаж. Или почти петербургский темный дом, с влажной зеленью вокруг фонтана. Или грозно синий пейзаж, в котором даже листва в отсвете неба принимает синий отблеск. Или изысканный английский стриженный сад с дерновыми скамьями, как в русских поместьях. И вдруг веселое озорство маскарада деревьев, искусной стрижкой превращенных в слонов, серн, в сонм причудливых животных, которые вот-вот сорвутся с корней и начнут бегать вместе с веселящимися под их купами любителями коктейлей. Добужинский зарисовал этот пейзаж дважды, в двух аспектах: в первом подчеркнут забавный замысел хозяйки, пожелавшей стать Цирцеей и обратить деревья в зверей, в другом же, сквозь всю причуду дан уютный облик садового пейзажа. Сады, которым Добужинский посвятил несколько картин, в то же время входят составной частью во многие его композиции: они чувствуются почти во всех интерьерах и оживляют их своим появлением в окне, кушами и аллеями за стеклом, полукруглыми ротондами, или будетами, которые художник приносит в комнаты. Присутствие цветов и зелени не только помогает создать гармонию чисто живописную, но и преобразует «портреты» старинных уголков Америки. В них Добужинский уловил то, что ускользнуло бы от иного наблюдателя, и передал роднящую их с Россией задумчивую нежность. Он создал прекрасную по художественной цельности галерею пейзажей и своего рода «натюр-мортов», от которой трудно было оторваться посетителю.



## РУССКАЯ ПОЛИТИКА В ТУРЦИИ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ \*)

Вопрос о проливах во время Балканских войн.

Победы балканских союзников над Турцией породили в заправилах русской иностранной политики противоречивые чувства. Они, разумеется, горячо приветствовали эту победу, но в то же время не желали вступления союзников в Константинополь. Поэтому, пока балканские войска приближались к турецкой столице, русская дипломатия неоднократно заявляла великим державам о своем желании сохранить суверенитет султана над Константинополем и прилегающей зоной. Становилось ясным, что русское правительство не допустит на берегах Босфора замены слабой Турции сильной Болгарией \*\*).

Доклад министра иностранных дел С. Д. Сазонова \*\*\*).

Доклад С. Д. Сазонова Николаю II (от 23 ноября 1913 г.) имеет большое историческое значение. Важнейшие его положения могут быть резюмированы следующим образом:

Военные поражения Турции на Балканах «создали во всех европейских кабинетах убеждение в том, что на возрождение этого государства нельзя слишком полагаться и что долговечность турецкого владычества подвержена серьезному сомнению. В связи с таким настроением все великие державы без исключения учитывают уже теперь возможность распада оттоманской империи и задаются вопросом о за-

---

\*) Вторая часть статьи А. Н. Мандельштама «Россия XX века перед турецкими проливами», Нов. № 29-30.

\*\* ) См. русскую Оранжевую книгу, французские дипломатические документы и Материалы по истории франко-русских отношений.

\*\*\* ) Красный Архив том 6, стр. 69-76, статья Захера.

благовременном обеспечении своих прав и интересов в различных областях Малой Азии». Как и другие державы, Россия не может не задаваться мыслью о таком обеспечении. «Можно быть разных взглядов насчет того, следует или нет России стремиться к обладанию проливами», а «на спорных базах нельзя обосновывать направления внешней политики в столь первостепенной важности вопросе». Но зато несомненно, что в **случае изменения существующего положения**, Россия не может допустить разрешения его в ущерб своим интересам.

Министр ставит вопрос: «Допустимо ли, с точки зрения интересов России, завладение проливами другим государством вместо Турции», и отвечает на него **отрицательно**.

«Сложный и трудный вопрос охраны проливов в настоящее время разрешается, в сущности, довольно удовлетворительно, с точки зрения наших непосредственных интересов. Турция представляется не слишком сильным, но и не слишком слабым государством, неспособным угрожать нам и в то же время вынужденным считаться с более сильной Россией...». Поэтому «переход проливов в полномочное обладание другого государства» для нас **недопустим**.

Недопустим такой переход прежде всего с экономической точки зрения. «Проливы в руках сильного государства — это значит полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству. Согласно объяснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 г. был на 100 миллионов менее в сравнении с средним сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим, весной последовало также повышение государственным банком учета на ½ процента для трехмесячных векселей. Таким образом, временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишней раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса».

Между тем, благодаря усилиям русской дипломатии, закрытие вызванное итало-турецкой и балканскими войнами, было кратковременным. И министр спрашивает: «Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями

для России, хотя нам удалось добиться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России? И для этого не нужно, чтобы государство, владеющее проливами обладало само по себе силой великой державы. Оно неизбежно приобретет эту силу, обосновавшись в проливах, из-за исключительных географических условий. В самом деле, тот, кто владеет проливами, получит в свои руки не только ключи морей Черного и Средиземного. Он будет иметь ключи для наступательного движения в Малую Азию и для гегемонии на Балканах».

Таким образом, утверждение нового государства на проливах недопустимо для России не только с экономической, но и с **политической** точки зрения. Возникла бы мысль об устранении возможности подобного утверждения путем **нейтрализации проливов**, со срывом их укреплений и запрещением возводить новые. Такую комбинацию едва ли можно признать удовлетворительной. Ведь правовые нормы, создающие эту нейтрализацию, могут быть, в случае войны, нарушены, и проливы внезапно захвачены неприятелем: нейтрализация сделала бы для нас «необходимым такое усиление наших военно-морских сил в Черном море, которое дозволило бы нам в любую минуту предупредить занятие проливов всякою иною державою».

Министр указывает попутно на «непомерное честолюбие Болгарии», обрисовавшееся в первый период балканской войны, и замечает: «Никто не может определить дня и часа, когда Болгария вновь обрушится на своего соседа стремительным натиском, на который способны болгары и который может оказаться последним и роковым для Оттоманской империи».

С. Д. Сазонов переходит затем к обозрению мер, принятых русским правительством для ограждения своих интересов и с полной откровенностью указывает на **неподготовленность России к исполнению своей исторической задачи на проливах**. Нам думается, что и теперь, через 33 года после доклада министра, ни один русский патриот не прочтет без жгучей боли в сердце следующие заключительные строки С. Д. Сазонова:

«Уже 30 лет прошло с того времени, когда державною волею покойного Императора Александра III возродился Черноморский флот. Около 60 лет прошло со времени появления

торгового пароходного движения на Черном море. Оба начинания связаны были с мыслью о мощи России, о возможном утверждении интересов наших на проливах. Сотни миллионов были истрачены на это дело, равно как и на содержание войск Одесского военного округа, призванного к совместным с нашим флотом операциям. Как известно, еще в 1895 году, в связи с армянскими избиениями, был поставлен вопрос о временном занятии Константинополя нашими войсками, с ведома и согласия наиболее опасного из возможных в то время соперников — Англии. От этого плана пришлось отказаться по недостатку транспортных средств и несовершенству сухопутной мобилизации.

С тех пор прошло 18 лет. Попрежнему тратятся многие сотни миллионов, и попрежнему мы ни на шаг не подвинулись к цели. Строятся военные суда, отпускаются ежегодные субсидии на поддержание торгового мореходства. Между тем, когда речь заходит о желательности той или иной крупной десантной операции, правительство останавливается перед почти невозможностью ее осуществить.

В минувшем году, когда зашла речь о возможности движения наших войск на Константинополь, выяснилось, что в течение 2-х месяцев мы можем постепенно перевезти 2 корпуса, причем приготовления по мобилизации транспортных судов и подвозу войск заняли бы столько времени, что операция не могла бы остаться ни для кого неожиданной, иными словами, она просто оказалась неосуществимой, не говоря о том, насколько не соответствовала самая численность такой десантной армии тем задачам, которые ей предстояло бы выполнить.

Впрочем, в настоящее время приходится говорить не только о невозможности серьезных активных выступлений против Турции, но о недостаточности наших оборонительных средств против морской программы, которая может быть осуществлена в ближайшее время Турцией. На основании данных, в разное время полученных министерством иностранных дел, приходится притти к заключению, что в период 1914-1916 гг. турецкий флот будет иметь преобладание над нашим в Черном море, по качеству своих судов и силе их артиллерии».

Описав наше столь плачевное положение в бассейне Черного моря, С. Д. Сазонов заключает, что «государственная предусмотрительность требует от нас внимательной подготов-

ки к выступлению, которое может потребоваться . . . Предстоит выяснить, что может быть предпринято для усиления нашей военной и морской мощи на Черном море». Возвращаясь к политической стороне подготовки, он повторяет, что «распадение Турции не может быть для нас желательным, и что в пределах дипломатического воздействия должно сделать все возможное для отсрочки такой развязки . . .»

Представляя высказанные соображения на рассмотрение Николая II, С. Д. Сазонов испрашивает его разрешения поставить их на обсуждение Особого Совещания.

### Миссия Лимана фон Сандерса

В начале ноября 1913 года (нов. стиля) Михаил Николаевич Гирс, русский посол в Константинополе, уведомляет С. Д. Сазонова, со слов немецкого коллеги барона Вангенгейма, что Германия решила отправить в Турцию военную миссию, во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом, причем этой миссии предполагается присвоить не только инспекционные функции, но и командные полномочия, и даже имеется в виду поставить германского генерала во главе первого турецкого корпуса, расположенного в Константинополе.\*)

Как известно, Германия и в прежние времена отправляла в Турцию инструкторов, для реорганизации турецкой армии, но германские офицеры, члены этих миссий, не наделялись никогда командными полномочиями. Предположение поставить германского генерала во главе турецкого корпуса, да еще в самой столице, являлось поэтому новшеством, которое вызвало самое отрицательное отношение со стороны русского правительства.

Как раз в это время председатель совета министров В. Н. Коковцев оказался в Берлине и имел очень серьезные объяснения по поводу миссии Лимана, как с канцлером Бетманом-Гольвегом, так и с самим Вильгельмом II. Министр заявлял, что русское правительство отнюдь не протестует против реорганизации турецкой армии германской военной миссией, но что оно энергично возражает против положения, при ко-

---

\*) См. Красный Архив, том VII, стр. 38-54; Константинополь и проливы I (стр. 58-83).

тором поддержание порядка и безопасности в турецкой столице было бы поручено Германии, и послы других держав оказались бы под ее покровительством.

В своем ответе Вильгельм II указал, что старая система инспекции привела турок к поражению и поэтому оказалось нужным обратиться к новой системе. Канцлер же пояснил: ввиду того, что в Константинополе создается образцовый корпус и находится военная администрация и военные школы, естественно, что и миссия должна находиться там же. Помимо того, турецкий флот подчинен английскому адмиралу Лимпусу, а турецкая жандармерия — французскому генералу Боману, и против этих назначений Россия не протестовала.

В. Н. Коковцев закончил свои представления канцлеру следующей альтернативой:

1. Германия отказывается от командования, ограничиваясь инспекцией. 2. Германия переносит свой «образцовый корпус» в другое место, напр., в Адрианополь или Малую Азию, но, конечно, не на русскую границу и не в сферу французских интересов.

Однако, Петербургу не удалось сговориться с Берлином, и Россия обратилась за поддержкой к Франции и Англии. В это время (4 декабря 1913 г.) вышло султанское ирадэ, назначающее Лимана командиром первого корпуса, и Россия настаивала на подаче Порте **идентичных** нот протеста. Но Англия, стесненная положением адмирала Лимпуса, не реагировала на русское предложение перевести адмирала из столицы в провинцию и отказалась от всякого резкого выступления. Петербургскому кабинету пришлось удовольствоваться подачей тремя державами идентичных нот, требующих у Турции информации о происходящем. Великий визирь ответил, что формируемый корпус должен включать кадры, через которые будут проходить офицеры других частей, и добавил, что ни проливы, ни крепости не подчинены германскому генералу, которому также не поручено поддерживать порядок в столице. Других последствий нота трех держав не имела.

23 декабря 1913 года С. Д. Сазонов обращается к Николаю II с докладной запиской. В виду неуспеха русских переговоров с Германией, министр иностранных дел считает необходимым теперь же условиться относительно того, в какой мере мы можем рассчитывать на содействие Франции и Англии. Если эти державы продолжают считать недопусти-

мым, чтобы корпусом в Константинополе командовал иностранный генерал, то они должны быть готовы к подкреплению своего требования соответствующими мерами понуждения. Нам предстоит, следовательно, быть осведомленными о том, расположены ли Франция и Англия в принципе к таким мерам и в чем таковые могли бы заключаться.

Сам министр считает, что «с политической точки зрения едва ли не самым целесообразным представлялось бы, в случае неудовлетворительного ответа Порты, одновременное совместное занятие Россией, Францией и Англией известных пунктов Малой Азии, с заявлением, что указанные три державы останутся в этих пунктах, пока их требования не будут выполнены». С. Д. Сазонов вполне сознает, что «на почве давления на Порту не исключена возможность активного выступления Германию на ее защиту». Но, с другой стороны, «если в столь существенном вопросе, как командование германским генералом корпусом в Константинополе, Россия примирится с создавшимся фактом, наша уступчивость будет равносильна крупному политическому поражению и может иметь самые губительные последствия». . . «Во Франции и Англии укрепится опасное убеждение, что Россия готова на какие угодно уступки ради сохранения мира». А «раз такое убеждение укрепится в наших друзьях союзниках, и без того не очень сплоченное единство держав тройственного согласия может быть окончательно расшатано».

При всем том, заключение С. Д. Сазонова далеко не категорично. Он находит, что нам следует теперь же вступить с Францией и Англией в весьма доверительный обмен мнений по этому вопросу и продолжает: «Если бы из этого обмена взглядов выяснился уклончивый образ действий наших друзей и соратников, то нам, конечно, пришлось бы в дальнейших наших действиях считаться с весьма серьезным риском отдельных выступлений России. Если же ответы Франции и Англии были бы признаны удовлетворительными, то, соблюдая всю необходимую сдержанность и осторожность для предотвращения по возможности осложнений, нам следует твердо отстаивать наши интересы до конца».

31 декабря 1913 года под председательством В. Н. Ковцева и при участии министров: иностранных дел (Сазонова), военного (Сухомлинова), морского (Григоровича), а также начальника генерального штаба (Жилинского), состоялось Особое Совещание по разбираемому вопросу. По

обсуждении положения Совецание вынесло следующие четыре резолюции:

1) Необходимо продолжать настояния в Берлине о недопустимости, с точки зрения интересов России, командования германским генералом воинской частью в Константинополе, а тем более представления ему инспекции в смысле командования тем или другим округом, но признавая в то же время допустимым предоставление начальнику германской военной миссии полномочий по общей инспекции над турецкой армией.

2) Переговоры в Берлине следует продолжать до выяснения полной их неуспешности.

3) Вслед за тем подлежит перейти к намеченным мерам воздействия вне Берлина, в согласии с Францией и Англией.

4) В случае необеспеченности активного участия, как Франции, так и Англии, в совместных с Россией действиях, не представляется возможным прибегнуть к способам давления, могущим повлечь войну с Германией.

Из этих четырех резолюций главное значение имеет, разумеется, четвертая. Из нее следует, что без активной помощи Франции и Англии Россия не может идти на риск войны с Германией, а должна примириться с германским господством над Босфором.

На другой день после вынесения трагической резолюции произошло неожиданное событие: **Германия добровольно отказалась от своих притязаний.** Генерал Лиман фон Сандерс был произведен в турецкие маршалы и в этом новом чине не мог оставаться командиром корпуса, а немецкого заместителя ему не было назначено.

Как русские, так и германские дипломатические источники объясняют такую уступчивость Берлинского кабинета его сознанием, что на практике она несколько не лишит Германию ее положения в турецком военном мире. Так, русский посол в Берлине **Свербеев** пишет, что устранение ген. Лимана от командования первым корпусом является «лишь уступкой формальной, отнюдь не лишаящей последнего решающего его влияния на военные дела в Турции». После неудач последней войны вся Оттоманская империя, повидимому, убедилась в необходимости пересоздать свою армию. А если это действительно так, то «чем бы ни был генерал Сандерс, и как бы он ни назывался, он очевидно сумеет сосредоточить в своих руках военную власть и явится фактическим на-



чальником оттоманских войск».\*) С другой стороны, германские дипломаты в Константинополе (Вангенгейм и Муциус) находили, что принятое решение отвечает как турецким, так и германским интересам: командование только отвлекло бы генерала от главной его функции — инспекции над всей турецкой армией \*\*).

В общем, приходится заключить, что Россия получила некоторое чисто формальное удовлетворение, но все же, ввиду своей полной неподготовленности к единоборству с Германией должна была допустить образование военного германско-турецкого блока на проливах.

### Проливы и Армения

В 1913 году Оттоманская империя, благодаря своей отвратительной администрации и расстроеным финансам, казалось, вступила в период окончательного разложения. Послы двух главных держав-соперниц на проливах, М. Н. Гирс и барон Вангенгейм, рисуют внутреннее положение Турции весьма мрачными красками. Но в то же время из дипломатической переписки между послами и их министрами вытекает, что оба правительства, как русское, так и германское, стремятся задержать распад и раздел Турции путем реформ.

Россия в это время была заинтересована реформами в пограничных армянских провинциях Турции, где население подвергалось медленному, но систематическому истреблению. Полная анархия, господствовавшая в Турецкой Армении, уже отражалась на настроениях русских армян и могла создать еще более сильное и опасное брожение на всем Кавказе. Россия желала поэтому умиротворения Турецкой Армении и этих видах взяла на себя (8 июля) почин реформ, носящих не исключительно русский, а международный характер.

Казалось, такая постановка должна была бы уберечь Россию от заподозривания в эгоистических побуждениях. Но она все же их не избежала. Германский посол на Босфоре, барон Вангенгейм, немедленно ударил в набат. Этот дипломат, унаследовавший от своего предшественника Маршалла вражду к русским политическим стремлениям, стал

\*) Красный Архив, том VII, стр. 46.

\*\*\*) «Grosse Politik», том XXXVIII, стр. 265-266 и 305.

предостерегать свое правительство против интриг России, которая, по его убеждению, пользуется армянскими реформами как предлогом для оккупации Армении и открытия дороги на Константинополь вдоль южного побережья Черного моря.

Трудно себе представить более сумасбродное обвинение, чем это. С одинаковым успехом разгоряченная фантазия барона могла обвинить Россию Николая II, Коковцева и Сазонова в подготовке похода на Индию. Достаточно вспомнить доклад Сазонова и постановления Особых Совещаний по ближневосточному вопросу, чтобы убедиться во вздорности вангенгеймовских наветов. Говорит против них и сам русский проект реформ в Армении. Автором проекта был пишущий эти строки — в то время первый драгоман русского посольства в Константинополе. Ввиду этой маленькой подробности, я считаю себя более осведомленным о намерениях русского правительства в этом деле, чем почтенный барон Вангенгейм.

Для составления проекта мне были, конечно, преподаны инструкции, как министерством иностранных дел, так и послом М. Н. Гирсом. Эти инструкции не ставили **никаких** политических целей. Следуя полученным указаниям, я выработал проект, основой которого являлось объединение всех армянских вилайетов в одной провинции и управление этой провинцией генерал-губернатором, назначаемым султаном **с согласия всех** великих держав. Таким образом, русский проект не предоставлял России исключительного влияния на будущее Армении. История, конечно, отвергнет клевету германского посла, который в переписке со своим правительством доходил до обвинения М. Н. Гирса в подготовке беспорядков и избиений в Армении, в целях создания предлога для русского вмешательства. И нельзя не отметить, для полной обрисовки барона Вангенгейма, что если предсказанные им избиения армян и состоялись, то это случилось несколько позже, уже во время войны, в мае 1915 года, когда в Турции не было никакого русского посольства. Из германских дипломатических документов мы узнаем, что Энвер Паша решил «переселить» всех армян в Месопотамию и обратился предварительно к бар. Вангенгейму с ходатайством поддержать перед германским правительством его просьбу «не останавливать его руки», если придется прибегать к «некоторым суровым мерам». Столь гуманный в 1913 году Вангенгейм не отказался поддержать эту просьбу и встретил полное со-

чувствие в Берлине. В результате турки вырезали около миллиона армян.

Но в 1913 году Вангенгейм потерял партию. Русский проект был принят Францией и Англией, ибо германский министр иностранных дел Ягов оказался разумнее своего посла. Россия сделала уступку: согласилась на образование двух армянских секторов реформ, вместо одного, и Германия сдалась. Реформы, принятые шестью державами, исчезли в водовороте войны. Для историка, однако, исход этих переговоров сохраняет показательное значение: Германия в конце концов уразумела, что в данный момент Россия не стремилась к захвату проливов.

### Вступление Турции в войну

8-21 февраля 1914 года состоялось Особое Совещание по докладу С. Д. Сазонова от 23 ноября 1913 года. В состав его, кроме министра иностранных дел, входили: морской министр адмирал Григорович, начальник генерального штаба ген. Жилинский, посол М. Н. Гирс и другие представители заинтересованных трех ведомств. Совещание согласилось с тезисом С. Д. Сазонова о необходимости занятия проливов в случае, если бы Турция была оттуда вытеснена другой державой. Но, увы, оно согласилось также с заявлением министра иностранных дел о полной технической неподготовленности России к такому захвату. Совещание приняло ряд резолюций, касающихся увеличения сил, предназначенных для экспедиции, ускорения сроков мобилизации, улучшения средств транспорта и постройки новых дредноутов. Эта резолюция была утверждена Николаем II 23 марта 1914 года.\*)

Однако, предписанные меры оказались запоздалыми, так как война, к которой они должны были подготовить Россию, разразилась уже 1-го августа 1914 года. Поэтому Россия направила все свои старания к тому, чтобы побудить Турцию к сохранению нейтралитета, и в том же направлении действовали ее союзницы — Франция и Англия. Послы трех держав вручили Порте ноту, в которой обещали ей за соблюдение нейтралитета отмену капитуляций и гарантию неприкосновенности против всякого врага, который попытался бы из-

---

\*) См. Красный Архив, т. VII, стр. 51-56.

влечь выгоду из настоящей войны. Но турецкое правительство, под влиянием первоначальных военных успехов немцев, предпочло стать на сторону Германии. 16/29 октября 1914 г. турецкий флот бомбардировал русское побережье Черного моря, и союзники оказались в состоянии войны с Турцией.

### **Договоры об утверждении России на проливах и о компенсациях ее союзниц в Азии**

Ввиду проникновения германских военных сил в Константинополь и в прилегающие зоны, Россия перешла к исполнению своей программы не допускать утверждения нового иностранного государства на проливах. Союзники вполне одобрили это намерение и первая признала его законность та самая Англия, которая до сих пор более других ему противилась. 9 ноября 1914 года король Георг V объявил русскому послу гр. Бенкендорфу, что Константинополь должен принадлежать России.

19 февраля - 4 марта 1915 г. министр иностранных дел Сазонов передал М. Палеологу и сэру Дж. Бьюкенену, французскому и великобританскому послам в Петрограде, памятную записку, следующим образом формулирующую территориальные притязания России (перевод издания «Константинополь и проливы», т. 1, стр. 252).

«Ход последних событий приводит Его величество Императора Николая II к мысли, что вопрос о Константинополе и проливах должен быть разрешен окончательно и сообразно вековым стремлениям России.

Всякое решение будет недостаточным и непрочным в случае, если город Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также Южная Фракия до линии Энос-Мидия не будут впредь включены в состав Российской Империи.

Равным образом и ввиду стратегической необходимости, часть Азиатского побережья, в пределах между Босфором, рекой Сакарией и подлежащим определению пунктом на берегу Измидского залива, острова Мраморного моря, острова Имброс и Тенедос должны быть включены в состав Империи.

Специальные интересы Франции и Великобритании в вышеупомянутом районе будут тщательно соблюдаться.

Императорское правительство льстит себя надеждой, что вышеприведенные соображения будут приняты сочувственно

обоими союзными правительствами. Упомянутые союзные правительства могут быть уверены, что встретят со стороны императорского правительства такое же сочувствие осуществлению планов, которые могут явиться у них по отношению к другим областям Оттоманской Империи и иным местам».\*)

На эту памятную записку английское правительство ответило 12 марта 1915 г. **согласием**, в следующих выражениях: «В случае, если война будет доведена до успешного окончания и если будут осуществлены пожелания Великобритании и Франции как в Оттоманской Империи, так и в других местах, как это указано в вышеупомянутом русском сообщении, правительство Его Величества согласится на изложенное в памятной записке Императорского правительства относительно Константинополя и проливов, текст коей был сообщен послу Его Величества его высокопревосходительством г-ном Сазоновым 19 февраля — 4 марта сего года\*\*).

**Французское** правительство отнеслось к русским требованиям гораздо сдержаннее, чем английское. Делькассе предпочитал ограничиться утверждением России на европейском берегу проливов. Но все же, в конце концов, и Франция приняла русскую памятную записку 4 марта, обусловив согласие осуществлением своих и английских планов на Востоке и в других местах (10 апреля 1915 г.).

Во время этих переговоров ни русская армия, ни русский флот не могли, по вышеуказанным техническим причинам, участвовать в англо-французских военных операциях в районе проливов. Русские войска доблестно исполнили свой союзнический долг на западном фронте, сосредоточивая на себе удары всей австро-венгерской армии и части германской, и содействовали, таким образом, победе на Марне; сражались наши войска и против Турции на Кавказском фронте, но в операциях на проливах они не принимали участия. **С политической** точки зрения это обстоятельство не должно было конечно, отразиться на правах России на эти проливы. Английский министр иностранных дел сэр Эдвард Грей сделал по этому поводу русскому послу гр. Бенкендорфу очень лояльное замечание: «На каком бы театре войны ни действовала каждая держава, в момент мира в соображение будет

---

\*) См. «Константинополь и проливы», т. I, стр. 252.

\*\*\*) Перевод с английского, сделанный в русском министерстве иностранных дел.

принята только совокупность прав каждого, причем местонахождение русских интересов не подлежит сомнению».

Все же русскому командованию удалось, в конце концов, иметь наготове корпус в 40.000, который должен был высадиться в Босфорском районе в момент вступления союзников в Мраморное море. Но русскому корпусу не пришлось действовать, так как попытка союзников прорваться через проливы кончилась неудачей. Не оказались успешными для союзников и кровопролитные бои на Галлиполийском полуострове, во время которых русский флот бомбардировал Босфорские укрепления. А в январе 1916 г. союзники прекратили свои операции против Дарданелл.

В 1916 г. Франция и Англия сговорились относительно разграничения своих собственных территориальных интересов в Азии. На основании знаменитого договора, названного по именам подписавших его уполномоченных договором **Сайкс-Пико**, обе державы отмежевали себе **зоны влияния** в арабских странах, некоторые из коих, сверх того, поступали под прямое или косвенное их управление или контроль; **французские** зоны управления устанавливались в Сирии, Киликии и Верхней Месопотамии, а **английские** — в Нижней Месопотамии, и на территории, лежащей между линией Кайфа-Такрит на севере и линией Акаба-Куйвет на юге. Этот договор был сообщен 25 февраля - 9 марта 1916 г. русскому правительству, которое 4-17 марта изъявило свое согласие, обусловив его осуществлением соглашения России с Францией и Англией относительно Константинополя и проливов.

Наконец, путем обмена нот между С. Д. Сазоновым и французским послом Палеологом, 13-26 апреля 1916 г. Россия и Франция разграничивали свои будущие владения в Азии. В силу этого соглашения Россия аннексировала области Эрзерума, Трапезонда, Вана и Битлиса, а также часть Курдистана к югу от Вана и Битлиса.

### **Отказ Временного Правительства от Константинополя и проливов**

4/17 марта 1917 года министр иностранных дел временного правительства П. Н. Милюков обращается к русским дипломатическим представителям за границей с циркуляром, в котором заявляет, что новый кабинет «будет относиться с неизменным уважением к международным обязательствам,

принятым павшим режимом и что бок о бок со славными союзниками Россия будет сражаться с общим врагом до конца, непоколебимо и неутомимо». В ответ на этот циркуляр, французское и английское правительства со своей стороны заявляют о своем намерении соблюдать все договоры, заключенные ими с Россией. В начале апреля 1917 г. П. Н. Милюков в беседе с сотрудником «Temps» вновь подтверждает притязания России на проливы. А 9 апреля — 27 марта правительство издает декларацию совсем иного характера. «Цель свободной России, гласит эта декларация, не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достоинства, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов».

Декларация, однако, оговаривает, что внешняя политика временного правительства будет ограждать права России при полном соблюдении всех обязательств, принятых в отношении наших союзников. Из этой оговорки П. Н. Милюков делает вполне логический вывод. А именно, в телеграмме, адресованной 1/14 апреля русским представителям в Париже и Лондоне, он замечает: «Ввиду того, что эти обязательства являются двусторонними, мы отнюдь не отказываемся от обеспечения жизненных интересов России, выговоренных в соответствующих соглашениях».

18 апреля - 1 мая 1917 года П. Н. Милюков принужден сообщить Декларацию 27 - 9 апреля союзным правительствам. Он сопровождает это сообщение объяснительной нотой, в которой заявляет, что «всемирное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого». Но официальное сообщение временного правительства от 22 апреля - 5 мая гласит: «Говоря о решительной победе над врагами, нота министра имела в виду достижение тех задач, которые поставлены декларацией 27 марта». Тогда П. Н. Милюков подает в отставку, а преобразованное и усиленное новыми представителями революционной демократии временное правительство уточняет еще более свою позицию в области внешней политики. Оно заявляет, что ставит своей целью скорейшее достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций, на началах самоопределения народов» (6/19 мая 1917 г.).

Союзные державы отвечают весьма дипломатично. Они

приветствуют новую Россию и заявляют, что разделяют ее отрицательное отношение к завоеваниям. Но они утверждают в то же время, что сами никогда не ставили себе целью порабощение народов, а наоборот стремились к их освобождению от иностранного господства; при этом союзники указывают на Армению, на Эльзас-Лотарингию, на арабские страны, на туземцев немецких колоний, а также на мученичество, переживаемое Бельгией, Сербией и Черногорией, которое требует санкций. Помимо того, союзники заявляют о своей готовности пересмотреть совместно с Россией общие цели войны (английская нота от 24, а французская от 26 мая 1917 года).

---

В редакционной заметке к статье А. Н. Мандельштама в № 29-30, стр. 102, пропущена строка. Текст должен читаться: «В течение 16 лет он был третьим, вторым и, наконец, первым драгоманом русского посольства в Константинополе (1898-1914 гг.).»



## РОЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

— Не берите с собой ничего ценного, в Италии всюду грабежи и разбой.

— Неужели вы решаетесь ехать в Италию? Ведь это опасно.

— Италия вряд ли поднимется, начнется гражданская война, вся молодежь безнадежно фашистская, не лучше гитлеровской.

Так говорили мне французы перед моим отъездом в Италию, куда я ехала корреспонденткой ежедневной парижской газеты.

Между тем, визу получить, хотя и трудно, но можно; поезда ходят регулярно, редакции получают итальянские газеты, аккредитированные журналисты посылают корреспонденции. Но французы предпочитают останавливаться на отрицательных фактах. Не изжито нападение Италии на Францию, и не прощен «удар в спину». Горечь обиды слишком сильна, и правды не хотят видеть. Забывают о борьбе передовых элементов с Муссолини — в этот приезд я встретила с людьми, просидевшими 16 лет в тюрьмах — и сколько таких! Французы не хотят знать о стачках рабочих Милана и Турина в разгар войны, о партизанах, о всех погибших и замученных немцами.

На одном предвыборном собрании министр внутренних дел, социалист Ромита, сказал: «Борьба народа и левых партий с Муссолини началась с первого дня и никогда не прекращалась, — об этом свидетельствуют тюрьмы, лагеря и имена погибших героев. Но правительства Европы поддерживали Муссолини, в то время, как мы боролись с ним». Ромита прочел выдержки из «Таймса» и других английских газет, превозносивших в свое время Муссолини и процитировал слова Черчиля: «Если бы я был итальянцем, то, конечно, пошел с Муссолини».

Многие французы, преклонявшиеся перед диктатором и его режимом, обвиняют его только в том, что он пошел против Франции, забывая, что война являлась логическим

следствием его политики; но они не прощают ее народу, боровшемуся с фашистским правительством, которое они одобряли.

На моих глазах во время выборов шла борьба с остатками фашизма, схватка за Республику, из которой народ вышел победителем.

В первый день моего приезда в Милан я была поражена грандиозностью разрушений и роскошью витрин. В магазинах можно купить все — ветчину, колбасы и сыры всех сортов, сливочное масло, конфеты, прекрасную обувь, шерсть и шелка — все без карточек.

После ограничений Франции, где продукты нормированы и черный рынок стыдливо прячется от непосвященных, это кажется сказочным. На уличных тележках горы лимонов, апельсинов и бананов, исчезнувших почему-то во Франции, где их изредка выдают по детским карточкам в ограниченном количестве. В кафе, в барах, в кондитерских вакханалия взбитых сливок — взбивают их тут же электрическими машинами. Над пирожными, кофе, шоколадом и мороженым высятся белоснежные хлопья, что больше всего удивляет французов: во Франции сливок нет, но все дети получают молоко. В Италии его дают только грудным детям. Вообще, как здесь живут, спрашиваешь себя. По карточкам давали только 200, теперь 250 гр. серого хлеба, 100 гр. сахара в месяц и кило макарон. Без карточек все слишком дорого: 1 литр молока — 600 л., кило сахара — 1.250 л., 100 гр. хлеба — 20 л., кило мяса — 600 л. и т. д.

Заработная плата рабочих 350-400 лир в день; чиновников, учителей — от 5-8 тысяч в месяц. Безработные получают пособие, едва хватающее на хлеб. Живут случайным добавочным трудом, привозят из деревни продукты, продают, меняют. Интеллигенты и представители свободных профессий продают свои вещи — скатерти, ковры, драгоценности. Торговля на улицах процветает. Оглушают крики: «Америка», «Национале». Вас хватают за платье, окружают. «Америка», «Инглези» — это продают папиросы — мальчишки, девочки, старухи, молодые люди.

На тротуарах сидят женщины, предлагают белый хлеб, сахар, муку, рис.

Магазины и кафе переполнены посетителями. Но сколько нищих, матери с грудными детьми простаивают дни с протянутой рукой. Босоногие, оборванные дети ждут случайных

поручений или подачек, сколько семей без крова, в бараках, сколько нужды в предместьях.

Разыскивая своих друзей, я шла между двумя рядами зловещих домов. Зияющие провалы стен, повисшие в пустоте внутренние лестницы, черные ослепшие окна, страшная тишина. Номер 254, который я искала, уцелел над полуразрушенными воротами, но вместо знакомого дома — груды кирпичей и мусора.

Я отправилась по второму адресу — дом был на месте, только за углом снесло бомбами несколько зданий. Он был все тот же, типичный миланский, с деревянными скульптурными воротами, которые скрывают железное кружево и кованые розы внутренней решетки. За нею мраморные арки портика и амфоры, откопанные при постройке дома. Но как изменились люди! На лицах глубокие следы лишений, пережитых ужасов бомбежек и партизанской борьбы, в которой они принимали участие. Незнакомые выросшие дети. Старший, Энрико, которого я оставила мальчиком, имеет чин лейтенанта партизанского отряда «Партито д'Ационе». Шестнадцати лет он убежал из коллежа к партизанам, жил в горах, скрывался в городе, в доме матери, которая помогала ему, хранил склад оружия и типографский материал, получил орден.

После первых бурных приветствий и расспросов, в наступившей минутной тишине, я услышала характерный, еще не забытый треск пулеметов.

— Становится жарко, — спокойно говорит Энрико. — Как, вы не знаете? Это второй день сражения между заключенными тюрьмы Сан-Витторิโอ и правительством. Солдаты открыли пулеметный огонь, заключенные фашисты отвечают.

Он рассказал мне, как на первый день Пасхи вспыхнуло восстание, возглавлявшееся уголовным бандитом Барбьери, но, в сущности, руководимое неофашистами. Было предъявлено требование: освобождение политических, смена тюремного начальства, безнаказанность восставших. Они захватили тридцать надзирателей в качестве заложников и грозят их расстрелять. — Это парализует действия властей, вы представляете себе, что делается в семьях заложников, — закончил он.

На площади перед тюрьмой, под стрекотанье пулеметов толпа взволнованно обсуждает события. В одной из групп молодой человек с партизанским орденом, опираясь на ко-

стыль, кричит: — Слушайте! Похождения Рокамболя происходят сейчас в Милане. Внимание: жили были три жирных свиньи...

— Их гораздо больше у нас! — подхватывает кто-то из толпы.

— Согласен, но я говорю о тех, что идут на сосиски. Итак, жили были в одной тюрьме три свиньи, много добрых надзирателей и заключенных. Все жили в добром согласии и несли свои обязанности: одни надзирали, другие готовили восстание, а третьи, — речь идет о свиньях, — стерегли... немецкое оружие, закопанное в земле, которую попирали эти всеядные. Не знали об этом добрые надзиратели, но знали умные заключенные и в нужный день, устранив свиней и взяв в плен надзирателей, овладели автоматами и пулеметами.

В толпе хохот. Вокруг рассказчика теснятся.

— И, как всегда в романах, появляется благородный бандит... — Далее шли подробности, как бандит Барбьери стал героем дня, о нем пишут в газетах, с ним ведут переговоры, но за его могучей спиной скрываются...

— Фашисты! — подсказывает толпа.

— Вы угадали, это знаете вы, но не те, кому знать полагается.

Его речь прерывают звуки военной трубы. Замолкают пулеметы. Открываются тюремные ворота, на носилках выносят раненого с кровавой повязкой на голове. Снова трубный сигнал на трех нотах — ворота захлопываются и продолжается «осадный огонь».

Три дня я была свидетельницей этой своеобразной войны. Газеты дают военные сводки, подробности переговоров с Барбьери, пишут о его вышитом голубом свитере, передают его шутки и словечки на блатном языке.

С обеих сторон есть раненые и убитые. Толпе пришлось отступить. Недалеко от нас рикошетной пулей ранило в живот женщину. Народ толпится день и ночь. На соседних улицах стоят элегантные автомобили с шоферами у руля. — Для увоза заключенных главарей, если им удастся прорваться, — сообщает мне Энрико, — но наши партизаны уже приняли меры.

На второй день моего приезда сенсация: на кладбище Музокко открыт и увезен труп Муссолини. В пустой могиле оставлен манифест, подписанный комитетом партии неофа-

шистов, в котором они призывают к борьбе с красной опасностью и Советским Союзом.

Мне удалось проинтервьюировать партизана, товарища Энрико, до восстания несшего караул в тюрьме Сан-Витторио. Он рассказал мне о странном поведении офицеров и тюремного начальства, давшего политическим, т. е. фашистам, палачам, «мучителям», пытавшим людей, свободу передвижения в тюрьме. Под предлогом порчи замков их камеры не закрывались, и они могли сговориться. Кроме того, они вели тайную переписку с внешним миром, и конечно имели директивы от комитета неофашистов. Он со смехом подтвердил историю с тремя свиньями, о которой говорил весь город. — Было бы просто применить слезоточивые газы — мы это предлагали, но начальство отказалось.

Кажется, правы французы, думалось мне: война в городе, осада тюрьмы, стрельба среди бела дня, официальные переговоры с бандитом и неслыханные подробности, возможные только в Италии.

Когда Барбьери из окна обратился к толпе, клаксоны стали заглушать его речь. Он подтащил к окну заложника, направил на него дуло револьвера, угрожая спустить курок, если ему не дадут говорить. В наступившей тишине Барбьери стал весело балагурить под шуточные аплодисменты толпы.

Только на пятый день удалось ликвидировать затянувшуюся трагикомедию.

Мимо наших окон с грохотом проехала тяжелая артиллерия, прошли отряды берсальеров. В полдень загрохотали пушки, рухнула башня, из которой отстреливались осажденные. Они сдались, и их развезли под сильным конвоем по разным тюрьмам.

Итоги событий: сорок раненых и десять убитых.

Правые газеты открыто писали о подготовке восстания в других тюрьмах и походе на Рим с останками Муссолини. Левая печать негодовала, обвиняя правительство в слабости.

Среди населения чувствовалась растерянность. Страшила скрытая, неуловимая опасность. Во многих среднебуржуазных кругах я встретила подавленность и отсутствие веры в будущее. Говорили: «Всюду продажность и следы фашистского режима. Народ несознателен». Среди рабочих и в кругах левых демократических организаций было совсем другое настроение. Здесь не унывали и готовились к бою с фашистами.

На моих глазах начала разворачиваться предвыборная кампания.

Миланское тюремное восстание и похищение трупа Муссолини окрылили фашистов и явились как бы сигналом к открытой борьбе. Последовал захват одной из радиостанций, где радисты были избиты и связаны. Были возведены — поход на Рим со священными останками великого вождя, мобилизация всех черных бригад и монархия без выборов.

Правые органы — «Коррьеро Ломбардо» в Милане, «Италия Сера» и вечерняя пресса в Риме торжествовали: близился, по их мнению, переворот. Но открытая атака фашистов неожиданно сплотила силы демократии. Социалисты и коммунисты начали совместную предвыборную кампанию. В партии христианских демократов резче наметились два течения, республиканское на периферии и монархическое, слегка замаскированное, во главе с де Гаспери, которого левые органы недаром называли двуликим. В эту партию, католическую по существу, часто шли и противники Ватикана — из боязни «красной опасности», раздуваемой правыми.

Члены партии Джианнини — «квалунквивисты» вербовались из числа бывших чиновников, военных, фашистов не у дел и просто недовольных обывателей. Программа Джианнини состояла в критике всего существующего, вообще, и левых партий, в частности. Он обвинял их в продажности и провозглашал защиту семьи и маленьких обывательских интересов, без всякой «политики», обещая разрешить все проблемы. Все это с грубыми шутками и сочными анекдотами. Над ним потешались, никто не принимал в серьез этого «лидера» недовольных, циника-клоуна и демагога. При голосовании «Уоммо квалункве», т. е. «некий обыватель» собрал, однако, два миллиона голосов и получил в Учредительном Собрании тридцать мест. Силу обывательской глупости и пошлости недооценили.

Монархисты всех оттенков рука об руку с фашистами, старались добиться отсрочки выборов 2-го июня. После этого начинались г. левые работы, в виду которых пришлось бы перенести голосование на осень, а там... открывались широкие перспективы для реакции.

Отречение короля Виктора Эмануила III в пользу сына было воспринято левой демократической прессой, как провакаторский предвыборный маневр, с целью сорвать выборы,

с согласия Англии, недовольной растущей популярностью левого блока.

В день отречения я была на площади Квиринала в Риме. Около 20-ти тысяч монархистов испуганно выкрикивали: «Эввива иль ре Умберто! Долой Республику!» Толпа состояла из аристократов и элегантных фурий с искаженными лицами, чиновников, бывших военных, старух в допотопных нарядах, с истерическими криками простирающих руки к королевскому балкону. Самой активной ее частью были «королевские лаццарони» — чернь, живущая подачками Двора, — известно, что за каждую манифестацию участник получает 200-300 лир. Надо сказать: лаццарони старались, с южным темпераментом и оперными жестами надсаживали глотки и постепенно пьянели от собственных криков. Всякого, кто решился бы сказать слово против короля, они бы смяли и изувечили. На нас, не принимавших активного участия в манифестации, уже смотрели подозрительно, особенно женщины, — неистовые «вдовы короля», как их прозвали в Риме после отречения.

На другой день, в субботу, римский народ ответил грандиозной манифестацией на «Пiazza дель Пополо». Кто бывал в Риме, помнит эту замечательную площадь, в глубине которой две широкие дороги, под зеленым навесом вековых деревьев, поднимаются по склону холма к белым террасам Пинчио. В дни народных митингов они, как и баллюстрада, окаймляющая площадь, и гигантские группы мраморных богов, служат амфитеатром для толпы.

Еще ночью двинулись предместья. Я была разбужена топотом ног. В открытое окно, сквозь решетку палисадника, выходящего на улицу Фламиния, я увидела темный людской поток. Шли рабочие, шли женщины и дети, знамена в полумраке казались черными, голоса сливались в ритмический шум прилива. Когда солнце начало жечь, вливающиеся в Пиаццо улицы — Бабуино, Корсо, Умберто, Рипетто, — были переполнены народом. Мне не удалось бы пробраться на площадь, если бы не моя карточка французской журналистки, которая магически открыла мне проход.

— Пропустите французскую республиканку, говорили в толпе, и я, сквозь казалось бы непроницаемую стену, добралась до баллюстрады, где меня посадили к ногам Нептуна с трезубцем.

Призыв сплотиться в борьбе за республику вызвал

взрыв народного энтузиазма. Заколыхались красные знамена с эмблемами левых партий: социалистической, коммунистической, партито д'Ационе, республиканской исторической, Союзов военнопленных и депортированных, Партизанского Союза, Генеральной Конфедерации Труда. Это была первая демонстрация сил левого блока, и она поражала выдержкой, организованностью и сознательностью.

Впоследствии, по мере того как развевалась предвыборная кампания, — разгорались страсти, рос энтузиазм, и митинги были бурны, в раскаленной атмосфере толпа волновалась и с бешеной страстностью выражала свой восторг и ненависть. Но сейчас это было только спокойное, уверенное утверждение народной воли. Гарибальдийский гимн звучал торжественно, его повторяли несколько раз, и вдруг — ошибиться невозможно, хотя слов не разобрать:

— Расцвели яблони и груши...

Я невольно подхватываю:

— Выходила на берег Катюша...

И, опомнившись, спрашиваю, что это поют.

— Наш партизанский гимн.

Я узнала, что итальянские партизаны сложили свой гимн на мотив «Катюши», слышанный от пленных советских бойцов.

И вот, под звуки, от которых радостно зашемило сердце, толпа двинулась к дворцу Веминале, где помещалось министерство внутренних дел, перед которым она шумно потребовала энергичных мер против неофашистов, провозглашая свою волю отстоять республику.

Как все было непохоже на хаос, о котором мне говорили во Франции.

Мне выпало счастье видеть возрождение итальянского народа и создание его первой республики. Оно далось нелегко, ибо были мобилизованы все силы реакции.

Союзники явно сочувствовали монархии и как могли, оставаясь в пределах корректности, принятой по отношению к Италии, поддерживали Савойский дом. В частности, адмирал Стон — делал отчаянные попытки спасти монархию, для чего хотел отсрочить выборы.

В то время как левый блок сплотил демократические силы всех оттенков, монархисты тайно соединились с подпольными организациями неофашистов. Назревала гражданская война, в руках монархистов был высший военный со-



став морских и сухопутных сил. Но своевременное открытие заговоров предотвратило опасность.

Коммунистический орган «Унита» и социалистический «Аванти» разоблачили союз Квиринала с неофашистами. Под заголовком «Узел между Умберто и Скорца стянулся крепче», «Унита» опубликовала текст секретного договора между ними. Правая пресса поместила официальное опровержение и обвинение в клевете. Но «Унита», очевидно хорошо осведомленная, продолжала разоблачения. Были даны подробности встреч в Гранд-Отеле представителя тайной организации с министром двора Фальконе Лучифере, которому был передан меморандум. Этот же меморандум был передан и союзникам. Судебного преследования за «клевету» не последовало.

Первый пункт этого документа: требование добиться от союзного командования согласия на политическую деятельность фашистов. Пункт второй: восстановление фашистских учреждений, необходимых для возрождения Италии. Пункт третий: отмена антифашистских законов и полная легализация партии. Как компенсацию, фашисты обещают: поддерживать дом Савойи, надеть маску демократии, согласиться на существование левых партий на время выборов и не препятствовать их пропаганде. Они берут на себя ответственность за фашизм в прошлом.

Король продиктовал ответ: «Легализация неофашизма пока преждевременна. Англичане и американцы, по всей вероятности, будут благожелательны к умеренному демократическому фашизму, но признать его немедленно и официально, до договора о мире, означало бы позволить России, Югославии и Франции настаивать на своих условиях, под предлогом, что фашизм не изжит в Италии. Все эти требования осуществимы только при победе монархии, — поэтому нужно сделать все возможное, чтобы отсрочить выборы. Укажите адмиралу Стону на неправильность выборов, на тюремное заключение видных монархистов, злоупотребления левых. Боритесь всеми способами с республиканской пропагандой».

Монархисты перешли к прямому действию. Известный монархический батальон «Сан Марко», совместно с бандами «квалунквивистов», организовал погромы, на манер «сквадристов» Муссолини. В городках и деревнях громили дома республиканцев, избивали левых, стреляли в окна. В Бари

разгромили очаг партии исторических республиканцев. Там же группа моряков монархистов бросила бомбу в мирную республиканскую манифестацию.

Левые органы печатали все подробности открытых заговоров и анкет, присоединяя результаты собственных находок. Правые, конечно, опровергали, но факты говорили за себя. «Аванти» опубликовало интересный документ — секретный рапорт тайного агента неофашистов Родольфо Дьеголи начальнику вооруженной группы «Мовименто Триколоро». Эта организация тоже имела конечной целью восстание и прикрывалась патриотизмом и защитой «матери-родины» от «красной опасности». Все фашисты в Италии работают под знаком борьбы с Советским Союзом и защиты культуры от «диких сталинских орд». Рапорт показывает связь этой группы с «Демократической фашистской партией», монархическими военными организациями и подпольным неофашистским движением.

Угрозой являлась принадлежность офицеров и высшего командного состава к монархическим организациям. Газеты подняли тревогу. Печатались имена монархических вождей, разоблачались их секретные приказы и репрессии по отношению к солдатам и к «ненадежным» морякам. Кампания против монархических адмиралов была особенно горяча. Если бы не бдительность левых партий, и не энергия прессы и правительства, вернее его левого блока — произошло бы кровавое восстание, и гражданская война была бы неизбежна.

Поэтому всем, кто был в это время в Италии, рождение Республики без кровопролития кажется чудом.

---

Н О В У Ю К Н И Г У  
Ю. Т Е Р А П И А Н О

## ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕСТНЫЙ КРАЙ

Цена 1 долл. 60 центов

продает в Нью-Йорке

**INTERNATIONAL BOOK SERVICE**, 410 Riverside Drive  
New York 25, N. Y.

в Париже

Д О М К Н И Г И

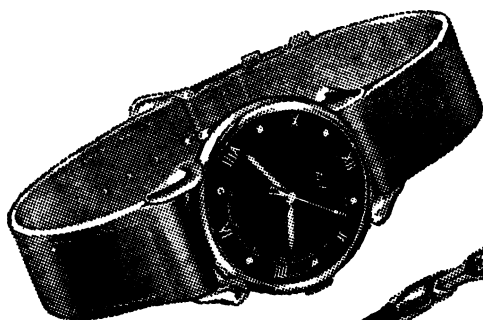
9 RUE DE L'EPERON - - PARIS — 6e

---

# Mido

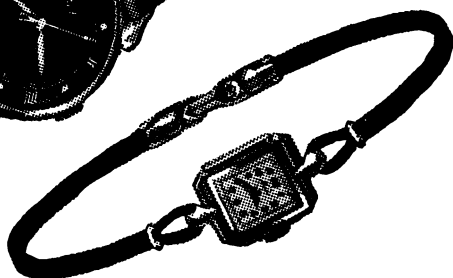
## FIRST CHOICE

for accurate wrist-time  
for streamlined distinction



for Men

for  
Women



They're accurate appointment-keepers, these streamlined, stylized wrist watches by Mido. Designed with true elegance for women — with powerful lines for men. 17-jewel movements.

**NOTE:** Mido Multifort Super Automatic and Mido Multifort watches (100% waterproof, shock resistant, and anti-magnetic) are **FIRST CHOICE** of service men and civilians because of the outstanding service they have rendered. Sorry, only a limited quantity is available at present for civilians, but remember, a Mido Multifort is worth waiting for.

---

'NOVOSELYE'  
A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

330 West 72 Street, New York 23, N. Y.  
ENdicott 2-1660

---

“НОВОСЕЛЬЕ”  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$4.50, на шесть месяцев — \$2.50; в Канаде: на один год — \$5.00, на шесть месяцев — \$2.75.

Цена номера в розничной продаже — 50 центов

Цена двойного номера — 75 центов

---

IN THIS ISSUE

- IVAN BOUNINE .....Creme Leodore (A Short Story)  
SOPHIA PREGEL .....Insomnia  
Russian Roads (Poems)  
TEFFI .....A Tragedy (A Short Story)  
VADIM ANDREYEV .....To My Father (A Poem)  
ALEXEY REMIZOV .....Turgenev (A Literary Portrait)  
TATANIA OSTROUMOVA .....The Return of the Soldier (A Poem)  
Y. TERAPIANO .....A Poem  
NINA FEDOROVA .....The Arctic (A Story)  
VL. KORVIN-PIOTROVSKY .....The Valse (A Poem)  
BRONISLAV SOSSINSKY.....The Felled Evergreen Tree (A Story)  
VLADIMIR DUKELSKY.....The Crossroads of Modern Music  
(An Essay)  
MARK SLONIM .....Literary Notes (An Article)  
J. SAZONOVA .....The Discovery of America (An Article)  
A. N. MANDELSTAM.....Russian Policy in Turkey, 1913-1917  
(An Article)  
O. KOLBASSINA-CHERNOVA.....The Birth of the Italian Republic  
(An Article)